

ISSN 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის
ინსტიტუტი



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1

1987

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

04.03.57 №20
024 ПР 0930

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

- ГИВИ ДЗНЕЛАДЗЕ. Выходите во двор, он идет! 3
- ГЕВАЗ МАРГИАНИ. Стихи. Предисловие и перевод В. Соколова 4
- ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Стихи. Переводы Н. Соколовской и Н. Ловшиной 10
- НАНА КАНДЕЛАКИ. И тогда шел дождь. Первая часть романа «Выстрел на рассвете». Перевод Э. Нейман 13
- ДЖЕМАЛ КАРЧХАДЗЕ. День один. Повесть. Перевод А. Златкина 51
- БОРИС КОКРАШВИЛИ. Два этюда 135

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГУРАМ БЕНАШВИЛИ. Незабываемые дни детства 142
- ДМИТРИЙ ТУХАРЕЛИ. В дополнение к известному (В. Маяковский в Тифлисе в 1924 году) 159
- ДИНАРА КОНДАХСАЗОВА. Для детей и о детях 170

1

1987

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н. С. ТИХОНОВА



«Годы над нами не властны...» (Письма Н. Ти-
хонова к С. Шаншиашвили и С. Чикован-
ни). Публикация, предисловие и коммен-
тарии М. Нинидзе 179

КОНТАКТЫ

НАТАЛЬЯ БЕРУЧАШВИЛИ. Шедевры пяти
веков 210

ХРОНИКА 158, 224



ВЫХОДИТЕ ВО ДВОР, ОН ИДЕТ!

Наступающий год
встретите, как долгожданного гостя.
До утра в очагах ваших
чуркам тутóвым гореть.
Новый квезри откройте,
пусть будет слышна в каждом тосте
только радость,
несите на стол новогоднюю снедь!

Новый год уже здесь,
показался из-за поворота.
В белой чохе и в белой папахе,
на белом коне!
Белой плетью играет...
Спешите скорей за ворота —
Он пришел наконец!

Мы увиделись вновь.
Подымите заздравные чаши!
Расседлайте коня
и ударьте по крупу рукой!
Раз в году этот гость
посещает селение наше.
Выходите во двор!
К нам пожаловал гость дорогой!

Перевод Сергея ГАНДЛЕВСКОГО



ЗАЩИТНИК И СОБИРАТЕЛЬ

Каждый Всесоюзный съезд писателей бывает радостным событием и потому, что на нем мы встречаемся со своими товарищами — поэтами, писателями из наших разных республик. Но на этот раз к радости примешивалась у меня и большая грусть. Я не встретил здесь моего друга — замечательного грузинского поэта и прекрасного человека, молчаливого и неразговорчивого Реваза Маргиани, с которым познакомился 30 лет назад. Мне сразу понравились его стихи, и еще тогда, 30 лет назад, я начал переводить их на русский язык. Работая над этими переводами, получал истинное удовлетворение, открывал для себя еще одного большого поэта.

Мне кажется, самыми главными образами в его поэзии являются сванская башня и пчела. Вот эти два символа очень хорошо определяют его характер — и человеческий, и творческий, и поэтический. Он был солдатом, защитником Родины. А в образе символа пчелы выражается его поэтическое начало — любовь к людям труда, собирателям. К собирателям, приносящим радость людям своими стихами, относится он сам. А собирал Реваз Маргиани впечатления о красоте родной Сванети, о красоте природы Грузии. Собирал такие черты, как человеческая доброта, человеческая дружба, взаимопонимание. Так что Реваз Маргиани все же присутствовал на большой беседе советских писателей из разных республик, тем более, что я видел там его новую книгу. И я рад представить сегодня его стихи в моих новых переводах.

Владимир СОКОЛОВ

МОИМ РОВЕСНИКАМ-ДРУЗЬЯМ

Вернемся к надежде,
Вернемся в начало,
К струне, что так ярко
Тогда зазвучала,
В те ночи под ветром,
В те дни налегке,
К смеющейся, звонкой
Вернемся строке.
Припомним, как наши
Кипели умы,
Хоть снегом сегодня
Осыпаны мы!
Вернемся, усталость
И зиму поправ,
К журчанию струй
И волнению трав.
Вернемся,
Летающее
Время не ждет.
Туманится дождичек,
Вечер идет..
Вернемся к дождям
И ветрам молодым,
К мечтам о любви
И надеждам былым.
Вернемся же к тем,
Кто нас помнит,
Туда,
Где стих нашей юности,
Где чистота.

Пусть путь наш в края,
Где мечты неоглядны,
Ложится за нами,
Как нить Ариадны.
Вернемся же снова
К грохочущим грозам,
К луне еще чистой,

К невыцветшим розам,
К порывам простора,
К цветку на лугу —
Скорей! Ибо скоро
Все будет в снегу!

К тем жаворонкам
Поднебесным и юным,
К звенящим, еще
Не оборванным струнам.
Вернемся, листвою
Молодою шумя,
Хоть строчкой одной
Или — даже двумя!

СЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР

Те радости,
Что пожинал я в мире,
Другим
На обмолот я отдавал.
Так месяцы летели,
Дни рябили,
Что дух перевести
Не успевал.

Все радости
Накопленные эти
Другим передавал —
Проверить их.
Любое дело доброе на свете
Хотел вместить
В свой восхищенный
Стих!

Я помню дни,
Чьи горечь и усталость
Дарить
Я не решался никому.
И боль моя
Мне одному досталась,
Известная
Лишь сердцу моему.

И только в дни
Всеобщей грозной доли,

Когда и грусть
Всеобщую была,
Свою печаль,
Свои поведать боли
Другим —
Открыто —
Песнь моя могла.

И все ж я втайне
Ощущал тревогу
Довольно часто
На своем веку,
Что все-таки
Ошибочного много
Я необдуманно
Вверял стиху.

Но я, живя
С открытою душою,
Путь не прокладывал себе
Хитро,
И для деяний злых
Любой порою
Не брался
Даже в мыслях
За перо.
И до кануна,
Как ветер ни менялся,
Остался верен
Совести одной.
В чужую чоху
Я не наряжался
И не ступал
Покорно в след чужой.

Перед чужим застольем
Предпочтенье
Я своему
Оказывать привык.
Мне детских дней

Ласкало душу пенье,
Мне сердце радовал
Родной язык.



Когда ж последней
Сумрачной прохладой
Я освежу навек
Свое чело,
Не надо, ласточки мои,
Не надо
Глядеть —
Вам это будет тяжело —
На те венки,
Что, исполняя долг,
Мне принесут...
Но я еще не смолк
И говорю
Заветными словами
Своих стихов,
Не отступая в тень:
«Я покамест
живу стихами
И надеюсь
на грядущий день».

В КРАСОТЫ СТИХ СВЯЖИ

Этот чистый рассвет, этих гор кряжи,
Эту свежую зелень раннюю,
Эти солнца лучи
В один сноп свяжи
И всему дай одно название.

И кипенье Мулахи, и жар души,
И свидетельство, и предание,
И веселье, и горе в одно свяжи
И всему дай одно название.

Эту башню и синь в грозовой тиши,
И малинник, и трав дыхание,
И тропинки меж скал
В один сноп свяжи
И всему дай одно название.

Чтобыплыли в стихе сквозь небесный дым
Туры, на крутизне стоящие,
Их связи нашей Дали платком одним,
Стих в красоты связи



манящие!

БЕСЕДА

Зрелость?

Разве время о зрелости мне говорить, Нинó?

Вольность?

Разве время о вольности, непринужденности
мне говорить, Нинó?

Старость?

О ней я еще и не думал.

Старость?

Она черной смерти канун.

Горе и радость?

Они близнецы неразлучные, Нинó.

Вражда?

Облака грозовые.

Зависть?

Но ведь это же совесть ограбленная.

Любовь?

Это нерукотворная ценность.

Песнь?

Песнь — бессмертие в вечности, Нинó.

Сердце?

То огонь и пылающий танец.

Жизнь?

Жизнь — великая кутерьма,

Птица вольная, вольно летающий ветер.

Жизнь?

Так уйдет, не успеешь и крикнуть.

Вдруг надвинется вечер,

Вдруг остынет оружие,

Вдруг помутнеет нагорное пастбище.

Высохнет в чаше, в фиале вино.

И — прощайте тогда, шум и пир...

Что поделатъ, у жизни, у бренного мира.

Нет закона суровой, Нинó.

МОЙ ТБИЛИСИ

(отрывок)

Когда из Оперы аплодисменты слышатся,
то умолкают на проспекте птицы,
не дрогнет ветер, ветки не колышатся,
и у прохожих праздничные лица.
когда из Оперы аплодисменты слышатся.

Тбилисский вечер я доверил им:
проходим ветру, воробьям на крыше...
Всем городом моим я был храним,
когда из дому подышать я вышел.

И я увидел очертанья гор.
Я к ним привык. И все же до сих пор
они мое притягивают зренье:
их линии напоминают пенье,
как будто голос потерял терпенье
и плоть обрел, прорвавшись на простор.

Из Оперы расходится народ
и не спешит в троллейбусы садиться...
Который год уже, который год
я так иду и вглядываюсь в лица:
течет прекрасная их вереница
который год уже, который год...

ВРЕМЯ

И мерцает в ореоле крыл
Время — Михаил и Гавриил.
Две меня карающие длани.
Я хотел бы чистым быть пред вами.

Вы меня воздвигли из земли.
обрекли на радости и муки,
сделали со мною, что смогли,
и опять земле отдали в руки.

Время — это бремя всех страстей,
тех, что на роду претерпит каждый,
мучимый сомнением и жаждой,
смертью близких, черствостью детей.

И приходит время умирать.
И приходит — восставать из пепла.
Сколько зрячих было, да ослепло.
И немых, что начали кричать.

Тот—бежит. Тот—сдерживает прыть.
Под луною ничего не ново.
Я сказать осмелюсь: Время — Слово,
должное произнесенным быть.

Буду жить, покуда хватит сил.
Буду жить, пока стихи со мною,
и мерцает за моей спиной
Время — Михаил и Гавриил.

ПУШКИН

Сыплет снег.
Нетоплено в дому.
Бесприютно, холодно на свете.
Вот бы, не сказавшись никому,
прокатиться в сказочной карете.
А карета медлит у крыльца...
Все случилось, что должно случиться.
И дрожат у твоего лица
свечи, как заплаканные лица.

БЕЗВРЕМЕННО УШЕДШИМ ПОДРУГАМ

Где же вы, юности нашей царицы.
Где же печальные ваши напевы,
залы пусты. Расставание длится.
Где вы, подруги, ушедшие, где вы?
Рифмы пытаюсь припомнить и звуки.
И ничего не желаю иного:
только бы свечи, гитары и руки...
Где твои сестры, Инола, Инола?
Голос бессмертен. И он остается
в кронах, долинах, цветах, снегопаде.
Смотришь — дождем долгожданном прольется.
Не для спасенья, но музыки ради.

МОИ ДРУЗЬЯ



041935340

Гугули & Георгадзе

Сегодня в Ваке,
проходя меж могил,
цветами дрожащими благословил
одну неприметную с виду плиту.
Цветы я оставил. И дальше иду.
Иду в Дидубе, где такие же плиты
слезами облиты, дождями прибиты.
Листовою опавшею их замело...
Потом я отправился в Сабуртало.
Темнело. Я двинулся мимо Багеби
на Цхнети. Дорога,
мерцавшая в небе,
вилась и манила меня, как стезя.
...По ней от меня уходили друзья.

Перевод Наталии СОКОЛОВСКОЙ

●

Мне драгоценны твои черты
В свете звезд и в сияньи дня.
Счастлив я, потому что ты
В сердце моем и вокруг меня.
Счастлив я, что ни память о зле,
Ни страданий глубокий след
Не угасили любовь к земле
В тех, кто живет, и в тех, кого нет.
Я, словно ветвь твоего ствола,
Крепкими жилами связан с тобой,
Ты для меня и судьбу избрала,
И ту, что стала моей судьбой
Чашу с ядом протянешь мне
Яд приму из твоих рук,
Но, оставаясь в минувшем дне,
Но, начиная новый круг,
Я расцелую пестрый край
Платья, в котором идет рассвет...
Грузия, Родина, светлый край,
Благословенна будь тысячи лет!

Перевод Нины ЛОКШИНОЙ



В ДЕНЬ моего рождения мы с Солико праздновали помолвку. Тогда же было решено, что свадьба состоится в новогоднюю ночь.

Нана КАНДЕЛАКИ

Мы выросли в одном доме и дружили с самого раннего детства. В огромном дворе нашего дома собиралось множество детей — мальчиков и девочек, но мне больше всего нравилось играть с Солико. Может быть потому, что он был хорошо воспитанный, вежливый мальчик и, понимая свое превосходство, во всем уступал мне. Я ужасно гордилась своей властью над ним. Может быть, именно поэтому я старалась быть всегда с ним, и лучше него для меня никого не существовало.

Как-то раз, когда я и Солико одновременно появились во дворе, кто-то из ребят громко крикнул:

— Дорогу, дорогу! Жених с невестой пожаловали!..

Вокруг поднялся хохот и визг. А мы не ответили, только смущенно поглядели друг на друга, словно соглашаясь с тем, что про нас говорили.

И тогда шел дождь

*Первая часть романа
„Выстрел на рассвете“*

Перевод
Элеоноры НЕЙМАН

Шутка молниеносно облетела весь дом, и теперь уже не только дети, но и взрослые называли нас не иначе, как женихом и невестой.

В один из воскресных дней, я тогда уже училась в седьмом классе, Солико пригласил меня в кино. Он был старше меня на три года, и мама моя, считая его уже взрослым, охотно отпустила нас вдвоем.

Когда мы возвращались домой, Солико вдруг остановился у подъезда и поглядел на меня так, словно увидел впервые, потом неожиданно притянул к себе и поцеловал.

Стыд обжег мне щеки. Оттолкнув его, я отвернулась к стене, и плечи мои затряслись от рыданий.

— Дэя... Дэя!.. — смущенно и взволнованно бормотал Солико. — Ты плачешь? Прости меня, Дэя.

— Нет, нет! Ни за что!

— Ты сердисься? Ты обиделась, Дэя!..

— Да, очень!..

— А я думал...

— Что ты думал?..

— Я думал, что ты... что ты любишь меня...

— А кто тебе сказал, что я не люблю тебя?!

— Отчего же ты тогда плачешь, Дэя?.. — удивился он.

— Н-не знаю... — опустила я голову.

— А говоришь, обиделась...

— Да, обиделась... но теперь это прошло...

— Значит, ты больше на меня не сердисься?

— Нет...

— Можно я тебя еще поцелую?..

— Если хочешь...

Тот вечер изменил многое в нашей жизни, он сблизил нас еще больше. Но теперь мы уже не могли, как прежде, сидеть вдвоем на виду у всех во дворе. Мы стали стесняться своих сверстников, сторонились их шуток, боялись насмешек и грубых неосторожных слов в наш адрес. Исчезла детская непосредственность и теплота нашей дружбы. Мы сами не заметили, как пришло им на смену первое чистое юношеское чувство.

Когда Солико окончил среднюю школу, Месхишвили перешли в построенный ими к тому времени собственный дом в районе Ваке, но расстояние не мешало нашей любви. Мы с Солико по-прежнему проводили вместе

все свободное время. Бывало, что он приходил ко мне, но чаще я навевывалась в дом Месхишвили, где меня всегда встречали радушно.

Вскоре Солико стал студентом консерватории. Он много занимался, и хотя был очень занят, мы и дня не могли прожить друг без друга.

Музыкальные занятия Солико были главной заботой семьи Месхишвили. У Солико был строжайший режим, и нарушение его считали совершенно недопустимым и родители, и сам сын. Случалось, что у нас не было возможности даже поговорить, — он целыми днями просиживал за роялем, — и тогда я садилась рядом и с удовольствием слушала его игру. Так проходил день за днем, но ни мне, ни ему не приходило в голову, что все может быть иначе; мы были счастливы и тем, что могли сидеть вот так, вдвоем, рядышком, под одной крышей...

Солико был еще совсем маленьким мальчиком, когда стал брать частные уроки музыки, а позже продолжил учебу в музыкальной десятилетке. Педагоги считали его необыкновенно одаренным и пророчили ему большое будущее.

Родители Солико гордились его талантом, да и я, чего греха таить, радовалась его успехам.

В детстве я тоже училась музыке. Мама надеялась, что из меня выйдет неплохая пианистка, но я была ленивой девочкой и засадить меня за инструмент ей удавалось с величайшим трудом. Музыканта из меня, несмотря на все мамины старания, не получилось, хотя в общем я любила музыку. С грехом пополам я все-таки закончила музыкальную школу, но продолжать учебу дальше меня не могли заставить никакими силами.

Помню, тогда мама не разговаривала со мною целых три дня, однако, убедившись, что решение мое непреклонно, смирилась. Частенько потом с затаенной грустью она говорила мне:

— Нет ничего прекраснее девушки, сидящей за пианино...

— Мама!...

— Хорошо, хорошо, не нужно консерватории, ну

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

хотя бы техникум! Можно было закончить техникум, Дэя. Ты ведь восхищаешься игрой Солико?

— Солико — талант, мама.

— Знаю, знаю, дочка, он талантливей тебя, но...

— Никаких «но», он талант... и потом, вовсе не обязательно, чтобы все были музыкантами, мама. Это удел избранных. В консерваторию следует принимать не по желанию мамочек, а лишь тех, кто отмечен особым даром.

— Училась бы уж для себя, дочка, ты даже не представляешь, как тебе идет, когда ты садишься за инструмент.

— Ах, мамочка, папиных гостей я и так смогу развлечь своей игрой, а большего мне и не нужно, так что давай-ка на этом кончим все разговоры о музыке.

— Что же ты думаешь делать дальше?

— Хочу стать врачом. Ты ведь жалуешься на давление, и сердце у тебя пошаливает, вот и буду тебя лечить.

Через некоторое время я и вправду стала студенткой мединститута. Мы с Солико стали встречаться реже. Он по-прежнему целыми днями просиживал за роялем, у меня появились свои заботы. Теперь мы узнавали все друг о друге по телефону.

Солико не любил футбола, он никогда не ходил на футбольные матчи, я же была страстной болельщицей. Бокс он тоже не любил, считая его варварством. Из всех видов спорта он признавал только гимнастику и конный спорт. Эти соревнования он хотя и редко, но все-таки посещал. Зато настоящей страстью его была музыка. Ей он отдавал все свое время и всю свою энергию, мог часами заниматься или слушать, когда играют другие, если, разумеется, они того заслуживали. Солико был скромным, застенчивым юношей, смущался и краснел до корней волос, когда его хвалили.

У Месхишвили была великолепная коллекция пластинок с записями произведений классической музыки в исполнении выдающихся пианистов, и у них в доме всегда звучала музыка.

Я тоже любила музыку, но так, как может любить обыкновенный человек. Я увлекалась спортом, литературой, не пропускала ни одной новой кинокартины и театральной премьеры, любила бродить по тбилиским

проспектам, по старинным извилистым улочкам, подниматься с друзьями на Мтацминду, на Комсомольскую аллею, но больше всего любила я проводить воскресные дни на Тбилисском море, плавать, загорать, кататься на лодке.

Солико называл меня энтузиасткой, я понимала, что он посмеивается над моими увлечениями, но не обижалась на него. Он искренне удивлялся тому, как мне удавалось за день проделать столько дел — посещать лекции, помогать маме по дому, читать, а вечерами ходить на концерты или в кино.

— Ты думаешь, я исключение? Так живут все наши сверстники. Возраст, мой милый, молодость, подъем сил, энергия. В сто лет, будь уверен, мне будет не до этого, — смеялась я.

— Я, наверное, все-таки бездарный, — говорил мне Солико. — Могу по десять часов в день просиживать за роялем, но тратить энергию на что-то другое... Как это ты умудряешься увлекаться столькими вещами одновременно, — пожимал он плечами.

— У тебя, бесспорно, необычайные музыкальные способности, милый, но при желании ты мог бы проявить себя и в других делах. Во всяком случае, тебе совсем не мешает чуточку проветриться, нельзя же все время отдавать музыке. Давай-ка завтра съездим на Тбилисское море, я научу тебя плавать, позагорает, покатаемся на лодочке, ну, идет?..

— И не лень тебе тащиться в жару в такую даль, сидела бы лучше дома, — махнул рукой Солико.

— Так ведь туда ходят автобусы, а если хочешь, можно поехать в такси.

— Да нет, лень, жарко, — поморщился Солико.

— Потому-то мы и собрались туда всем курсом, что жарко, — не уступала я. — Там будет очень интересно, завтра начинаются соревнования, а кроме того, и самим нам не грех прохладиться.

— Если хочешь прохладиться, пойди в ванную, прими холодный душ.

— Ты что, и вправду не знаешь, какая разница между ванной и купаньем в море?!.. — рассердилась было я.

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

— Вода везде одинакова, — миролюбиво заметил Солико, — я бы даже сказал, что в ванне куда комфортнее, а, впрочем, если ты предпочитаешь экзотику, не стану тебе мешать; в самом деле, поезжай, раз это доставляет тебе удовольствие...

— И тебе не будет обидно, если я поеду одна?..

— Я ведь уже сказал тебе, поезжай, я не эгоист, поплещись там и за меня. К сожалению, я никак не могу, мне необходимо как следует подзаняться, ведь я обещал своему профессору сдать ему первую часть концерта.

— Ты, Солико, непременно будешь великим пианистом!..

— Не знаю, Дэя, говорить об этом преждевременно.

— Зато я знаю, я почти уверена, что так будет!

Солико улыбнулся и поцеловал меня в щеку.

— Прости, родная, но я не могу сегодня проводить тебя. Позвони, когда придешь домой.

— Обязательно.

— Передай мой привет твоей подружке Нуно.

— Спасибо, передам.

— Не пропадай так надолго, когда теперь ты снова появишься?

— Видишь ли, я все время отрываю тебя от занятий, тетя Анета уже трижды заглядывала к нам в комнату.

— Глупости... Приходи, Дэя, не заставляй меня скучать по тебе.

— На той неделе я не приду. В понедельник вечером начинается чемпионат по баскетболу, а днем у меня масса дел.

— В последнее время ты даже звонишь редко.

— Я очень люблю тетю Анету, милый, но не скрою от тебя, что все темы телефонных разговоров с нею у меня иссякли.

— Не будь злой, Дэя, звони прямо ко мне.

— Хорошо, позвоню прямо тебе, — улыбнулась я.

— Не увлекайся, не сиди долго в воде, простудишься.

— Ну что ты придумал, как это можно простудиться в такую жару, ведь середина лета, — засмеялась я. — До свидания, я пошла!..

Странно, но я почему-то никогда не задумывалась над нашими с Солико отношениями. Мне казалось совершенно естественным, что жених мой сидел все вечера за роялем, а я проводила свой досуг с друзьями. Но вот однажды, когда мы с ребятами, как обычно, возвращались с очередного кинофильма и я, уже было распрощавшись со всеми, повернула к перекрестку, меня окликнул мой однокурсник Сосо Циклаури.

— Девушка, — позвал он. — Девушка, спроси-ка у своего жениха, может, он раздумал на тебе жениться?

Сосо был смелым парнем и отличным студентом, и товарищи в группе очень любили его. Говорил он обычно мало, больше слушал и внимательно ко всему приглядывался, но если высказывал свое мнение, то к нему прислушивались. Слова его больно кольнули меня. Я остановилась в растерянности.

— А тебе-то что, ты-то чего волнуешься? — накинулась на него моя Нуну.

— Я?.. А почему бы мне и не волноваться, мы с Дэей как-никак товарищи!

— Ну и что же, что товарищи, это вовсе не дает тебе права...

— Меня это очень даже волнует!..

— Да что с тобою, Сосо?

— Он ни во что не ставит Дэю, этот жених, если отпускает ее везде одну, или заранее приучает ее к одиночеству?!

— Что ты хочешь этим сказать?..

— А то, что она похожа на соломенную вдову, понятно тебе!

— Может, ты собираешься осчастливить эту соломенную вдову? — крикнула ему Нуну. Девчонки расхохотались и разбежались кто куда.

Нуну поглядела на меня и вдруг, сообразив, что сказала что-то не то, растерянно отошла. Ребята некоторое время смотрели на нас с недоумением, потом, так ничего и не поняв, стали потихоньку расходиться.

Мы с Сосо остались совсем одни. Неожиданно он подошел ко мне совсем близко и сказал:

— Я обидел тебя, Дэя. Ну, что ты так смотришь на

меня?! На, бей, — подставил он мне щеку. — Я виноват и заслужил это!

— В следующий раз попрिдержи язык, а вообще оставь меня в покое, а то и впрямь получишь пощечину, — сказала я и, резко повернувшись, побежала домой.

Ночью я не сомкнула глаз.

Слова Сосо больно ранили мне сердце. Я словно прозрела, вдруг поняла, что то, что мы с Солико называли любовью, было больше похоже на детскую игру. На другое утро, когда я вышла из дому, мир показался мне совсем иным, да и сама я была теперь не той, что вчера и позавчера...

В этот день я не пошла к Солико. Не пошла я к нему ни на другой, ни на третий...

Несколько раз звонила Анета. Позвонил и сам Солико. Я сначала отговаривалась занятостью, но потом, уступив настояниям мамы, все же пошла к Месхишвили, больше для того, чтобы высказать Солико всю накопившуюся горечь и обиду.

— Ты совсем нас забыла, моя хорошая, — встретила меня упреками Анета, — бедный Солико потерял покой. Парень целый день только о тебе и говорит, заниматься перестал!

— Не могла, времени не было, — хмуро ответила я.

— Почему ты сердишься, девочка? — поцеловала меня в щеку Анета. — Наверное, потому, что мы все так сильно любим тебя?..

— Ты все это время занималась?.. — спросил меня Солико, когда мы с ним остались одни.

— Только у меня и забот, что занятия. Я не собираюсь тратить на них всю свою молодость, — сказала я зло.

Солико удивленно посмотрел на меня.

— Что случилось, Дэя? Может, тебе нездоровится? — ласково спросил он.

— Благодарю. Я совершенно здорова.

— Ты сегодня какая-то странная.

— Сам ты странный. Ты думаешь, все другие музыканты так же, как ты, целыми днями занимаются? Нет и нет! Посмотри на себя, на кого ты стал похож, никуда не ходишь, ничего не читаешь, ничем не интересуешься. Так жить нельзя.

Солико смущенно улыбался:

— Ты несправедлива ко мне, Дэя, это неправда, как это — я не читаю. Хочешь, я перечислю все, что я прочитал за это время.

— Я убеждена, что и во время чтения ты думаешь о музыке, — не отступала я.

— В музыке вся моя жизнь! Нет ничего выше и благородней музыки.

— Я сыта твоей музыкой по горло!

— Вот если бы ты любила ее, как я, то не говорила бы так.

— Не хочу, не хочу я любить, как ты! Ты никогда не станешь ни Листом, ни Рубинштейном, ни Рахманиновым! И Рихтера из тебя не получится, потому что в твоём возрасте он уже был выдающимся пианистом!.. Ты, твоё мать и твой глупый профессор верите в несбыточную мечту!.. Посмотри-ка на себя в зеркало, ты похож на ненормального, ты не человек, а машина! — закричала я.

— Непостижимо! Ещё три дня назад я казался тебе гением, — горько усмехнулся Солико.

— Потому что я была дурой, слышишь! Глупой, легкомысленной дурой!

— Ну и от чего же ты так сразу поумнела? — спросил он своим привычным спокойным тоном.

Слова его словно огнем обожгли меня. Обида сдавила мне горло, и из глаз неудержимо полились слезы:

— Что с тобой, Дэя, что тебя так взволновало, объясни толком!

— Все смеются надо мной.

— Кто смеется, не понимаю...

— Все. Меня даже называют соломенной вдовой.

Солико вдруг изменился в лице:

— Что ты говоришь, Дэя?!

— Разве у них нет оснований так думать? Ведь я всюду бываю одна или просиживаю в одиночестве все вечера, а ты... Ты словно прилип к этому проклятому роялю и долбишь его, как дятел. Ненавижу, ненавижу!.. Не верят мне, что ты меня любишь, да и я сама, если хочешь знать правду, перестала в это верить.

— Дэя, милая, опомнись, что ты говоришь!

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

— Оставь меня! Сиди за своим роялем, но моего имени больше не произноси!..

Некоторое время Солико молчал, беспомощно тыкая пальцы, потом тихо проговорил:

— Не знаю даже что сказать тебе, Дэя, может; ты и права, может, я виновен перед тобой, я уделял тебе слишком мало внимания, но ведь ты рассуждаешь как маленькая, словно ничего не понимаешь в музыке, не знаешь, какого огромного напряжения сил она требует. Неужели ты думаешь, что мне никогда не хочется повеселиться в кругу товарищей, но если раз-два нарушить режим — пропадут все мои труды, я превращусь в посредственного исполнителя, а ведь это не входит в наши с тобой планы!. Не правда ли?

— Продолжай, дорогой, твой режим, твои планы! Все, прекрасно!.. Но издеваться над собой я больше не позволю, конечно!..

— Дэя, родная, к чему по пустякам портить себе нервы, неужели ты не видишь, что я люблю тебя больше жизни!

— Я этого не чувствую.

— Дорогая, пойми, искусство требует жертв!..

— Боже мой, какая затасканная фраза. Да к тому же у меня нет ни малейшего желания жертвовать собой ради искусства, достаточно и того, что ты приносишь в жертву себя.

Солико расхохотался от всей души и, целуя мне руки, сказал уже серьезно:

— Вот скоро, когда у нас будет свадьба, мы пригласим всех твоих друзей и в первую очередь тех, кто сомневается в моей любви. Посмотрим, что они тогда скажут.

Снова поцеловав мне руку, он отошел к окну и с упреком сказал:

— Нету на свете справедливости, если ты не веришь тому, что я люблю тебя!..

— Кто знает, что у тебя на душе, — сказала я зло.

— Какая ты безжалостная, Дэя.

— Уж такая уродилась, ничего не поделаешь, — холодно бросила я и оглянулась на Солико.

Тогда я впервые заметила, что он гораздо ниже ростом, чем казался мне до сих пор.



В начале октября, в один из вечеров мы, девочки, решили пойти на премьеру в театр Марджанишвили. Только я собралась выйти из дому, как в гости к нам явились Месхишвили, все втроем: Анета с огромным букетом чайных роз, Бидзина с тортом и сам Солико.

Все трое были в необычайно приподнятом настроении.

— Ой, Бидзина, да ты только посмотри, как прелестна наша будущая невестка! А какое у нее платье! Куда это ты собралась в таком красивом платье? — затараторила Анета, внимательно оглядев меня с головы до ног.

Бидзина широко улыбался, а Солико не сводил с меня влюбленных глаз.

«Неужели мне придется остаться дома и провести весь вечер в их обществе? Не выношу Анетиной болтовни!» — раздраженно подумала я и только хотела сказать им правду — что иду в театр, как мама опередила меня:

— Что ты, генацвале, куда она не собирается! Платье это Дэя сшила ко дню своего рождения и надела его показать нам с Ладом.

— О, мы, кажется, пришли вовремя, — улыбнулась Анета. — Гляди, Солико, какая она раскрасавица! Оно тебе очень к лицу, Дэчка! — снова обернулась ко мне Анета и так, чтобы слышали все, сказала сыну: — Настоящая невеста!

Бледное лицо Солико залилось краской. Нескрываемое восхищение, с которым смотрела на меня его мать, смутило Солико, но он, подавив робость, улыбнулся и тихо сказал мне:

— Дэя, тебе действительно очень идет это платье. Ты в нем похожа на фею из сказки.

Услышав слова сына, Анета громко рассмеялась:

— Фея! Только за этой феей нужен глаз да глаз, не то она у тебя быстрехонько упорхнет...

— Что ты говоришь, Анета! Куда это она должна упорхнуть, не терзай мальчику душу! — вступилась за Солико моя мама.

Бидзина и папа чему-то улыбались, а бедный Солико смутился еще сильнее и растерянно посмотрел на меня.

— Теперешним девушкам доверять нельзя, у них решение по десять раз на дню меняется, — заметила Анета.

— А я тебе, сын, вот что скажу, — если ты мужчина, то и поступай по-мужски, наперекор всем этим женским штучкам. Мужчина всегда должен подчинить женщину своей воле!.. — смеясь, обратился к сыну Бидзина.

— Чего вы пристали к бедному мальчику! — снова стала защищать Солико моя мама.

— Довольно! Прекратите эти нелепые шутки! — выкрикнула неожиданно я. — Вы забываете, что мы с Солико давно уже не дети!

Мама смертельно побледнела, я даже испугалась, как бы ей не сделалось дурно.

— Дэя, Дэя! — заволновалась Анета: — Почему ты сердисься, девочка, я и не думала тебя обижать, это все я своему сыну говорила к тому, чтобы он был с тобою пообходительней, ты ведь знаешь, какой он у нас, если его не подзадорить, ничего не получится. А все — музыка, он ведь из-за нее подчас и о себе самом забывает! Не сердись, побеседуйте здесь с Солико, а мы, старики, посидим у мамы.

Не слушая уже никого, я вскочила и выбежала из столовой.

Мама увела гостей в свою комнату.

Солико остался один. Я долго сидела на кухне, но потом мне стало жаль его, а, кроме того, я ведь как-никак была хозяйкой и мне надлежало развлекать гостя.

— Тебе, наверно, не понравилось, что я так... — заговорила я раздраженно, — но пойми, я больше не могу так, не могу! Мне это надоело!

— Я не осуждаю тебя, Дэя! Им действительно кажется, что мы все еще дети, а между тем детство давно-давно улетело...

Я ничего не ответила и, усевшись в кресло, стала молча перелистывать журнал.

Солико некоторое время смотрел на меня в упор, по-

том вдруг встал и пересел за пианино. Я была удивлена: он не любил играть для других.

— Что тебе сыграть? — спросил он, улыбаясь.

— Что хочешь.

— Ты ведь любишь Шопена, полонез?

— Пожалуй! — произнесла я неохотно.

— Довольно дуться, Дэя, будто ты не знаешь мамы, у нее доброе сердце, поверь.

Солико легко коснулся пальцами клавиш. Лицо его, бледное и невыразительное, озарилось каким-то необычайным внутренним светом и стало вдруг прекрасным. Волшебные звуки шопеновской мелодии наполнили нашу небольшую квартиру.

Робко, словно боясь испугнуть кого-то, вошли в комнату старшие, тихонько уселись на тахту и, как зачарованные, стали слушать...

Я мельком взглянула на Анету, и сердце мое вдруг неожиданно бешено заколотилось. Все трое — отец, мать и сын были сегодня какие-то необычные, и я вдруг поняла, что сегодня, сейчас произойдет что-то очень значительное, очень важное.

— Bravo! Замечательно! Молодец! — восторженно воскликнула мама, когда Солико кончил играть. — Правда, чудесно, Ладоз?! — обратилась она к моему отцу.

— Прекрасно, прекрасно! — восхищался папа. — Солико доставил всем нам огромное наслаждение!

— Хороший у меня сын! — бросился целовать Солико Бидзина.

— А тебе, Дэя, разве не понравилось, как он играл? — спросила Анета.

Мне хотелось сказать ей что-то резкое, но я вовремя удержалась и проговорила едва слышно:

— Солико не нужны мои комплименты, а играл он действительно великолепно...

— Так, значит, тебе все-таки понравилось?..

— Да, очень!

— Ты сегодня какая-то странная, слова из тебя не вытянешь, и мрачна, как туча, что с тобой?

— Это все музыка. Серьезная музыка всегда на меня так действует. Не удивляйтесь, если я вдруг сейчас зареву.

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

Анета промолчала, но я почувствовала, что слова мои рассердили ее. Она нервно закурила сигарету.

Мама выглядела бледной как мертвец. Мужчины напряженно молчали. Наконец, неловкое молчание нарушил сам Солико:

— Дэя права. Серьезная музыка создает соответствующее настроение... Она мрачна, но я сейчас развлеку ее! — С этими словами он извлек из нагрудного кармана маленькую красную коробочку.

— Какая прелестная коробочка! — заблестели глаза у мамы.

— Это по особому заказу, — гордо произнесла Анета.

— Похоже, — кивнул папа.

— Вы, конечно, спросите, кому эта коробочка предназначена? — с улыбкой взглянул на меня Бидзина и, обернувшись, многозначительно поглядел на сына.

Бледное лицо Солико порозовело, он отвел от меня глаза и потупился.

— Да что там долго говорить, все и так ясно, не правда, Дэя?

Меня охватила дрожь, я вдруг отчетливо поняла, что попала в западню. Молча, не произнося ни слова, смотрела я на окружающих.

— Все понятно, дорогие, да!.. — замахала руками мама.

— Нет! — категорически обрезала Анета. — Нет! Ничего не понятно... Дивлюсь я вам, люди, такое в жизни человека бывает только раз, и молчать в такие минуты совершенно недопустимо! То, что полагается, нужно сказать, и сказать по всем правилам. Что с тобою творится, сынок, Солико, ты что язык проглотил?! Странная нынче пошла молодежь. Ты ведь жениться собрался, так скажи об этом девушке так, как в свое время твой дед и отец говорили своим избранницам.

Солико жалко сморщился и посмотрел на мать с упреком.

Гнев у меня как рукой сняло. С любопытством смотрела я то на одного, то на другую, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— Солико! — повысила голос Анета. — Может, ты все-таки удостоишь нас словом, сын?!

— Не приставай ко мне, мама, — досадливо отмах-

нулся Солико. — К чему этот церемониал? Мы ведь не чужие.

— Ох, горе твоей матери, сынок, что с тобой будет, когда меня не станет?!

— Полно, Анета, мы ведь и впрямь не чужие, — улыбнулся папа, пытаясь заступиться за Солико, но Анета так сверкнула глазами, что улыбка застыла у него на губах.

— Ладно уж, так и быть, скажу, если это обязательно нужно, — согласился Солико, он возвел глаза к потолку, потом, откашлявшись, обратился к моим родителям:

— Уважаемые тетя Дареджан и дядя Ладо!

— Вот это уже другое дело! — умильно посмотрела на сына Анета.

— Да... — продолжал он, — имею честь сообщить вам, что мы с вашей дочерью Дэей любим друг друга и решили пожениться, на что и просим вашего согласия...

— Согласна, согласна! — закричала мама, глаза ее увлажнились слезами радости, и она тут же горячо расцеловала нас обоих.

— Будьте счастливы, дети, нам на радость!

— Аминь, аминь! — со смехом воскликнула Анета и тоже последовала маминому примеру.

От неловкости и пережитого напряжения у меня невыносимо разболелась голова. С удивлением и неприязнью смотрела я на восторженное лицо мамы. Ее откровенная радость раздражала меня. Самолюбие мое было уязвлено. Глядя на то, как ласкали Солико мои родители, я подумала, что вели они себя так, словно если бы не его великодушное желание жениться на мне, я никогда бы не смогла выйти замуж.

— Кольцо, кольцо невесте! — изо всех сил закричал Бидзина.

Солико достал из красной коробочки бриллиантовое кольцо и надел мне его на палец.

— Дай вам бог счастья, детки! — проговорила Анета и обратилась к маме. — Дарико, дорогая, с этого дня мы свойственники, я ведь и раньше любила тебя, как родную, а теперь счастье наших детей и вовсе нас

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

сроднило. Да продлит бог нашу жизнь им же на радость!

— Да, да, да! Ничего не пожалею, только бы наши дети были счастливы! Вручаю тебе свою дочку, знаю, будешь заботиться о ней, как о родной дочери.

— Любовь да совет вам, детки! Сладко состариться вдвоем! — поднял протянутый ему мамой бокал Бидзина.



Через неделю был день моего рождения.

Когда за праздничным ужином Солико объявил гостям о нашей помолвке, мои однокурсники встретили это известие таким громом аплодисментов и песнями, что стены загудели. Тостам и поздравлениям не было конца.

Своей элегантностью и изысканными манерами Солико произвел большое впечатление на моих подруг. Я чувствовала, что девочки поглядывали на меня с завистью. Много цветистых тостов подняли за наше счастье ребята, ничего не сказал только Сосо Циклаури, с противоположного конца стола он сделал мне знак, что пьет за мое здоровье, и опорожнил свой бокал.

Танцы были в разгаре, когда, извинившись перед Солико, Сосо пригласил меня. Танцевали мы молча. Когда смолкла музыка, он, горестно вздохнув, зашептал мне на ухо:

— Отчего ты сегодня такая печальная? Неужели тебя так огорчает предстоящее замужество? Вот не думал. Хотя, говоря по правде, если кто вздумает тебя обидеть, этот пижон ни словечка за тебя не замолвит! Не знаю, на что только ты надеешься. Жаль мне тебя, девочка!..

Слова Сосо, как ножом, полоснули меня по сердцу.

— Не беспокойся, я сама сумею за себя постоять. Тот, кто посмеет меня обидеть, получит достойный ответ.

— Э-эх! Не такой тебе нужен муж!..

— А какой? Уж не такой ли, как ты?

Сосо смутился и ничего не ответил. Я, тоже промолчав, отошла от него.

Всю остальную часть вечера я была не в настроении. Слова Сосо запали мне в сердце и взбудоражили

меня. Несколько раз я украдкой глядела на Солико и он показался мне бледным, даже каким-то посеребрившим. Одни глаза были по-прежнему красивы — темные с поволокой, немного грустные. Солико не принимал участия в общем веселии, но с явным удовольствием наблюдал, как веселятся другие.

«Господи, — с тоской подумала я. — Он никогда не изменится, он всегда будет таким! А как же я? Что будет со мной?»

Перехватив мой взгляд, Солико улыбнулся мне:

— Веселые у тебя друзья, Дэя. Сколько они могут вот так петь и танцевать?

— Чему ты удивляешься, ведь они молодые, а каждый нормальный молодой человек должен быть именно таким! — сказала я, не глядя на него.

— Ты хочешь сказать, что я ненормальный? — снова улыбнулся он.

— А как по-твоему, ты считаешь свое поведение нормальным?!

— Благодарю! Откровенно говоря, подобного комплимента от собственной невесты я не ожидал.

— Да, вот еще, что я хотела тебе сказать: мне нравится, когда мужчина увлекается футболом, любит и повеселиться, и песни попеть, и охоту любит, а если придется — и кулаки в ход пустит. Одним словом, мне нравится, когда мужчина есть мужчина, понятно?

— К сожалению, Дэя, я не могу поступать так, как твои друзья.

— Это почему?

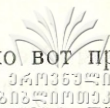
— Не имею права. Я музыкант, я не принадлежу себе, ты ведь это прекрасно знаешь и должна к этому привыкнуть...

— Тогда для чего тебе жениться, к чему тебе жена, да еще такая, как я?!

— Я очень люблю тебя, Дэя, и буду тебе хорошим мужем, но песни и охота — не моя стихия, меня увлекает другое, то, что недоступно им, твоим друзьям. Что ж, как говорится, каждому свое!..

— Я хочу, чтобы муж мой был прежде всего человеком, обыкновенным человеком, понимаешь!

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.



— Я и есть обыкновенный человек, только вот профессия у меня необыкновенная.

— Неужели ты собираешься всю свою жизнь прожить так, как живешь сейчас?!

— Пойми, Дэя, у меня нет времени валять дурака!..

— Ты думаешь, эти молодые люди — бездельники? — я еле сдерживала раздражение. — Это будущие врачи.

— Я это прекрасно понимаю, но профессия врача, очевидно, не требует такой полной отдачи, такого самопожертвования. Ведь вам не приходится работать над собой по восемь-девять часов в сутки каждый день.

— Ладно! Видела я твоих товарищей, их ведь тоже, как и тебя, считают одаренными студентами, их фотографии рядом с твоей висят на доске отличников, но они, не в пример тебе, не изводят себя за инструментом.

— Поверь мне, Дэя, их успехи временные.

— Ты фанатик, неисправимый фанатик!

— Да, я до самозабвения люблю музыку, музыку и тебя, Дэя!

— Лжешь! — воскликнула я, давая волю своему гневу. — Ты лжешь, невозможно любить одинаково двоих. У одной из нас непременно есть преимущество, иначе не может быть!

— Тише, успокойся, дорогая, я прошу тебя! На нас уже обращают внимание. Грешно нам ссориться в такой счастливый вечер. Я обещаю тебе, раз уж ты так хочешь, все будет иначе — будем ходить на стадион, в кино, не пропустим ни одной премьеры в театре, поедем на Тбилисское море...

— Ты смеешься надо мной?

— Нет, я вполне серьезно.

— Ну, а что же тогда будет с твоей обожаемой музыкой?

— Придумаю что-нибудь, чтобы не потерять ни тебя, ни музыку.

Я горько рассмеялась.

— Чему ты смеешься? — удивился он.

— Солико, милый, нам будет трудно вместе, давай лучше расстанемся сейчас, пока не поздно.

— Почему, Дэя?

— У нас разные характеры.

— Главное, мы любим друг друга. Я не представляю, что смогу прожить без тебя, я так привык к тебе, Дзя! Мы с тобой вынесем все трудности! Нет безвыходных положений, поверь, я обязательно что-нибудь придумаю!

Слова Солико вызвали в моей душе целую бурю чувств. Первым моим побуждением было выбежать из дому, бежать далеко, чтобы меня не нашли, но перед глазами у меня встали счастливые лица моих родителей — они так радовались моему предстоящему счастью, что я просто не посмела бы отравить им эту радость.

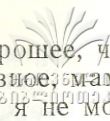
...В первые же дни Отечественной войны папа ушел на фронт, оставив маму с крошечным ребенком на руках — мне было тогда меньше месяца. Тяжело пришлось молодой неопытной женщине одной в городе. Родители настойчиво звали ее домой, в деревню, но мама отказалась и осталась в городе.

Тогда-то и подружилась она с Анетой Месхишвили. Муж ее, Бидзина, устроил маму на работу в госпиталь, а меня оставили на попечение Анеты, которая заботилась обо мне, как о собственном ребенке. Бидзина был слаб здоровьем, зрение у него было неважное, кроме того, он прихрамывал, поэтому на фронт его не взяли, работал он на фабрике снабженцем, и родственники из деревни помогали, так что семья кое-как перебивалась в то тяжелое военное время. Нам тоже кое-что от них перепадало.

Анета, женщина добрая, по мере возможности помогала всему двору, а особенно нам с мамой. Надо признать, что относилась она к нам, как к родным.

Мама, в свою очередь, чувствуя себя в долгу перед Месхишвили, готова была, как говорится, в игольное ушко пролезть... чтобы доставить приятное этим добрым людям. И всю жизнь она чувствовала себя обязанной им. Тогда, в вечер помолвки, я с особой остротой поняла это. Мама прекрасно знала о том, что Анета с Бидзиной мечтают поженить нас с Солико, и считала, что обязательно должна помочь им осуществить задуманное. Она искренне верила, что наша семья ни-

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.



чем больше не могла бы отплатить за все хорошее, что сделали нам в свое время Месхишвили, а главное, мама была просто убеждена, что ни с кем другим я не могла бы быть так счастлива, как с Солико.

— Анета и Бидзина любят тебя, как родную дочь, ты ведь выросла у них на руках и, разумеется, даже не представляешь, как это много значит. Это, милая, и есть настоящее счастье для женщины, — частенько говорила мне мама, чувствуя, что в последнее время я избегаю разговоров о Солико.

— Мне кажется, главное, чтобы мы с Солико любили друг друга.

— Да неужели ты еще сомневаешься в его любви, Дзэя?!

— Что ты называешь любовью, мамочка, пять минут в месяц, которые он уделяет мне, да и то по телефону?!

— Ты несправедлива к нему, дочка, разве он виноват в том, что у него такая профессия. Ты прекрасно знаешь, что у него совсем нет времени!

— Ну не сидеть же мне из-за его профессии целыми днями дома, за семью замками!

— Боже упаси! Кто ж тебя заставляет, дочка, сидеть взаперти. И сама Анета ведь не из домоседок.

— Но я, мама, не за Анету выхожу замуж.

— Что с тобой, Дзэя? — посмотрела на меня изумленно мама, такой резкости она, вероятно, от меня не ждала. — Что случилось? Ведь до сих пор тебе нравился этот парень?

— До сих пор я была дурочкой!

Мама долго в упор смотрела на меня, потом вдруг сжала руками щеки.

— Ты его разлюбила, Дзэя? Тебе нравится другой?

— Нет, мама, не беспокойся, никакого другого нет, но Солико я тоже не люблю и замуж за него не выйду.

— Но почему, ты можешь объяснить — почему?

— ...Я хочу, чтобы моим мужем был совсем другой, настоящий человек, сильный, мужественный, смелый! А Солико... Ну что он за мужчина?!

— А кого же ты считаешь настоящим мужчиной, дочка? С этого дня никаких кино, слышишь! Все эти проклятые заграничные фильмы, это они вам, девчон-

кам, головы кружат! Где это слыхано, чтобы девушка так рассуждала. Стыдись, Дэя!

— Разве стыдно говорить правду, мамочка? Хочешь сделать меня несчастной?

— Что с тобой, какой в тебя сегодня бес вселился?

— Не люблю я Солико и за него не выйду! И нет в этом, мамочка, необходимости, а то бы пошла я на такую жертву.

— Что с тобой, Дэя, ты что, с ума сошла?! Как ты разговариваешь с матерью, совсем стыд потеряла!

— Оставь меня, мама, со своим Солико, говорю ведь тебе, не люблю я его.

Мама заплакала.

— Какая ты неблагодарная, Дэя! О такой семье, как Месхишвили, может только мечтать каждая девушка. К тебе сама судьба в дверь стучится, а ты своими руками хочешь загубить собственное счастье. Не разрывай моего сердца, ему разорваться недолго. Не позорь нашей семьи, девочка, грех потом всю жизнь тебе покоя не даст!

— Ах, мама, мамочка! Что ты мне предлагаешь! Почему ты хочешь, чтобы я поступила так, как противно моему сердцу!

— Ты еще дитя, милая, и не много в этой жизни смыслишь. А жизнь сложная, она ошибок не прощает, ты же собираешься совершить очевидную ошибку, вот я тебя и предостерегаю.

— А мне кажется, это ты собираешься заставить меня совершить ошибку.

— Месхишвили так много для нас сделали. Ты ведь знаешь, как они помогли нам в тяжелые военные годы. Ведь когда отец возвратился с фронта, тебе было уже пять лет. А все время, когда его не было с нами, тебя нужно было кормить, поить и одевать, и помогали мне делать это Бидзина и Анета. Ты теперь и не представляешь, какие это были годы, какая страшная шла война, кругом лились потоки крови, гибли миллионы людей. Украина, Белоруссия, берега Волги, Балтика — все было захвачено фашистами, враг стоял у ворот Кавказа. Тяжело было на фронте, но и в тылу было не легче. День и ночь работали мы, не разгибая спи-

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

ны, чтобы помочь фронту продуктами и медикаментами. В эти страшные дни, когда неоткуда было ждать помощи, Анета и Бидзина приняли нас, как родных, и делились с нами последним куском. Анета была тебе как мать. Солико любит тебя с детства, и ты его любишь. Не упрямясь, родная. Лучшего счастья пожелать нельзя; поверь мне... А какое его ждет будущее! Недаром ведь он столько работает над собой. Вместе с ним ты объездишь мир. Месхишвили всегда жили хорошо, а в дальнейшем будут жить еще лучше. Вся моя молодость прошла в нужде и лишениях, вот я и хочу, чтобы тебе жилось лучше, чем жила я.

— Но ведь для этого я и учусь, мама.

— Эх, пока ты чего-нибудь достигнешь, пройдет много времени, а годы летят быстро, глядишь, и молодость прошла. Им всегда сопутствовали удача и обеспеченность, вот я и хочу, чтобы у тебя была беззаботная жизнь, чтобы ты никому не завидовала. Я уж знаю, дни мои сочтены, не заставляй меня слезами исходить, сердца моего не разрывай! — зарыдала мама.

— Не плачь, мамочка, успокойся!

— Если бы ты знала, как я страдаю.

В последнее время мама чувствовала себя плохо. Жаловалась на сердце, давление, головные боли. Мой отказ выйти замуж за Солико действительно мог убить ее. Я не посмела более противиться.

«Что ж, — думала я, — поступлю так, как хотят мои родители... Может, со временем, когда Солико повзрослеет, станет мужчиной, он поймет меня и переменится». Но на сердце у меня было тревожно.

3

Чем ближе подходил день нашей свадьбы, тем больше сердце мое восставало против этого, несмотря на то, что я твердо решила выйти за Солико замуж. Все в нем раздражало меня: и то, как он говорил, и его смех, и ласки. Тысячу разных причин придумывала я, чтобы уклониться от встреч с женихом. Он явно чувствовал мою холодность, но сносил ее с молчаливой покорностью, по-прежнему смотрел на меня с обожанием и выполнял все мои капризы.

Анета и Бидзина забросали меня подарками. В до-

ме у нас тем временем шла свадебная подготовка, шилось приданое: постельное белье, одеяла, тюфяки, подушки. Родители купили мне спальный гарнитур мебели.

— Ах ты господи, какие неугомонные! — сердилась на наших Анета. — И чего это вы, люди добрые, так тратитесь, разве у нас дома нет постели? Все мое движимое и недвижимое принадлежит нашим дорогим деткам, дай бог им здоровья да долгой жизни! Ты что, Дарико, собираешься завалить мне квартиру тюфяками и подушками до потолка?! — смеялась она.

— Да ну что ты! — не уступала ей мама. — Шутка ли, единственную дочь, как-никак, замуж отдаю.

— Не хочу я, чтобы вы из-за этого в долги влезали.

— Не беспокойся, милая, я тебе по секрету признаюсь, у меня для такого случая припасено несколько грошей.

— Ох уж эта мне Дарико!.. — ласково потрепала ее по плечу Анета.

Мама, разумеется, сказала ей неправду. И от меня скрыла, что деньги на все эти приобретения она одолжила. Я чувствовала, что родителям приходится туго, — ведь дорогой ковер и сервизы, на которые целую неделю приходили любоваться соседи и родственники, едва ли можно было приобрести на наши скромные достатки.

Глядя на маму, не отставали от нее и Месхишвили. По особому заказу из Москвы привезли мне свадебное платье, заграничную фату и туфли.

— Какая красота! От такого платья, пожалуй, не отказалась бы даже сама правительница Мегрелии Екатерина Дадвани, — восторгалась Анета.

— Да, да... — вторила ей мама.

— А тебе, Дэя, тебе нравится платье? — спросил меня удивленный моим равнодушным видом Бидзина.

— Я полностью полагаюсь на мамин вкус, — ответила я двусмысленно.

Мама принужденно рассмеялась и с упреком посмотрела на меня:

— Конечно, нравится! Будто вы не знаете, какая

она у нас стеснительная, ох, когда уже эта глупышка наконец перестанет дичиться, — покачала она головой.

— Так и нужно! Правильно, моя умница, моя хорошая, — ласково поглядела на меня Анета. — Девушку красят скромность и почтительность.

— Через неделю в Большом зале консерватории состоится концерт Солико, — вдруг неожиданно объявил Бидзина. — После концерта давайте и отпразднуем свадьбу.

— Да, пожалуй, дольше откладывать не стоит, — согласилась с ним Анета и ласково поцеловала меня в лоб. — Дэя у нас удивительно похорошела, расцвела, как майская роза.

У мамы лицо зарделось от удовольствия и глаза наполнились слезами.

— Хорошая у тебя дочка, Дарико! Счастливая ты мать, — улыбнулась ей Анета, — но и наш парень не хуже.

— Да что там говорить, — замахала руками мама, — таким сыном можно только гордиться!..

«Ну, теперь их понесло... Обоюдные комплименты прекратятся не скоро!» — подумала я с раздражением.

— Вчера на улице я встретил профессора Солико, — прервал излишняя женщина Бидзина. — Он очень хвалил мальчика. Если ваш сын будет продолжать так заниматься, сказал он мне, то в ближайшем будущем станет одним из лучших пианистов мира.

— Дай-то бог, дай-то бог, — закивала мама.

— Ты будешь гордиться своим мужем, Дэя, разве ты не рада этому, девочка?! — погладила меня по голове Анета.

— Как же ей не радоваться, — ответила за меня мама.

— Что-то не вижу на лице ее восторга, — подозрительно поглядела на меня Анета. — Вы с Солико случайно не повздорили, детка?

— Дэя! — сердито посмотрела на меня мама. — Вы что, снова в ссоре?

— С чего ты взяла, мамочка, у нас нет причин ссориться; а кроме того, где и когда мы могли поссориться, ведь вот уже две недели, как мы с ним не виделись.

— В последнее время Солико действительно очень

КОН-
204.035340
802.0110333

занят, он день и ночь готовится к предстоящему концерту... Не сердись на него, уж ты-то знаешь, что искусство...

— Знаю, знаю, — резко оборвала я Анету. — ...требует жертв!

— Это действительно так... — подтвердила она и растерянно посмотрела на меня.

— Да, конечно, и мне сейчас не до гулянья, у меня зачеты, сессия, — сказала я.

Анета почему-то вздохнула и отвела от меня взгляд.

— Учеба отнимает у наших детей так много сил, — сказала мама, любовно глядя на меня, — но без этого теперь нельзя.

— Сейчас да, но зато конец будет добрым. Если концерт Солико пройдет хорошо, он выступит со своей программой в Москве на зимних студенческих каникулах. Пятый фортепианный концерт Бетховена, а это ведь, посудите сами, путевка на большую сцену.

— Уверена, Солико покорит москвичей своей игрой, — улыбнулась мама.

«Чего это она так стелется перед ними? Отчего так унижается? Она ведь и меня этим унижает! — думала я с горечью. — Правда, они люди богатые, да ведь и мы не бедняки».

— А вообще-то зимы в Москве холодные, свяжите Солико теплые перчатки, а то, неровен час, пальцы себе отморозит, все мы тогда пропали... — сказала я деловито и взглянула на Анету.

Не знаю, уловила ли Анета издевку в моем тоне, но она мгновенно нашлась, не дав мне даже договорить:

— Об этом, милая, не матери, а невесте следует позаботиться.

— Анета права, доченька, этот подарок Солико должна преподнести именно ты. Непременно подари ему теплые перчатки.

Я хотела было рассердиться, но, обезоруженная маминой наивностью, повернулась и молча вышла на кухню.

Концерт Солико в Большом зале консерватории состоялся в середине декабря. В программе его был пятый фортепианный концерт Бетховена.

Долго и тщательно готовился Солико к этому концерту. Бледный и утомленный, в строгом черном костюме, он походил на тяжелобольного. Внешне Солико был спокоен, но я знала, как он волновался. Я тоже волновалась, боялась, что от слабости и усталости он может не выдержать. Переживали за исход концерта и Бидзина с Анетой.

Как только он появился на сцене, я замерла в ожидании. Я мечтала о том, чтобы вечер этот кончился побыстрее, боялась, как бы концерт не провалился.

Но случилось неожиданное. В тот вечер Солико был восхитителен. Сложное бетховенское произведение он исполнил с необыкновенным подъемом и вдохновением. Раздался гром аплодисментов. Слушатели неистовствовали, зал долго гудел от непрекращающихся оваций. Я была в восторге, кричала «браво». Я гордилась Солико, гордилась его талантом, гордилась и радовалась тому, что человек этот был близок мне, что он любил меня, что вместе с ним мне суждено было пройти бок о бок всю жизнь.

Мама и Анета смотрели на сцену глазами, полными слез. Папа и Бидзина старались не высказывать своих восторгов, но довольные лица их расплывались в улыбках.

Я украдкой взглянула на маму, и сердце мое наполнило чувство благодарности.

«Родная моя, — думала я, — как хорошо, что я послушалась тебя... Каково бы было мне сейчас, если бы мы с Солико расстались? Бедный! Сколько я доставляла ему огорчений, сколько обидных слов и поступков вытерпел он от меня, а в ответ — ни звука, ни замечания...»

Как только концерт закончился и зрители стали потихоньку расходиться, я, поздравив Анету и Бидзину, побежала за кулисы. Я увидела Солико в окружении педагогов и друзей. Кругом было много цветов. Я остановилась, поодаль — подойти к нему было невозможно.

Солико словно почувствовал мое присутствие и, отделившись от толпы, прошел вперед. Встретившись со мной взглядом, бросился ко мне навстречу. Нам всем устремились любопытные взгляды собравшихся. По толпе прошел шепот, затем несколько человек подошли ко мне, как к старой знакомой, и стали поздравлять с успехом Солико. Мало-помалу кулисы опустели. Мы с Солико остались одни.

Я первая обняла и поцеловала его.

— Тебе действительно понравилось?.. — спросил он и в ожидании ответа поцеловал меня в щеку, потом, устало опустившись в кресло, закрыл глаза.

— Ты был неповторим, ты замечательно играл, таким тебя я еще ни разу не видела. — Я наклонилась к нему и снова поцеловала его. — У тебя блестящее будущее, мой родной!

— Ты серьезно или просто из приличия, Дэя?

— Полно, Солико, неужели ты и вправду не слышал, какие были аплодисменты! А профессорам своим ты разве тоже не веришь?

— Больше всех я верю тебе, дорогая, и знаешь почему? Потому, что ты... Ну, словом, ты скупа на похвалы.

— Прости меня, Солико, я причиняла тебе много огорчений, не слушай меня, я глупая, легкомысленная девчонка... — я хотела еще что-то сказать, но вдруг опустила голову, и непрошеные слезы градом полились из моих глаз.

Солико, вскочив с кресла, подошел ко мне и, стремительно обняв меня, заглянул в глаза.

— Ты плачешь, Дэя? Отчего? Что случилось?..

— Не знаю, не спрашивай меня ни о чем... Мне стыдно...

— Перестань, клянусь тебе, я ничего не помню, мне не в чем упрекнуть тебя, Дэя!

— Мой добрый, мой хороший...

Солико поцеловал мне обе руки и своим платком вытер мой глаза.

— Если бы ты знала, как я устал, видимо, большое счастье вынести нелегко.

— Теперь тебе необходимо отдохнуть, пойдем в фойе,

наши ждут тебя, особенно твоя мама, она так волнуется... пойдём покажемся, а потом — домой!..

— Нет! Только не домой. Эту ночь мы проведём вместе: Погуляем до рассвета.

— Что ты, дорогой, взгляни на себя в зеркало, на тебе лица нет, ты еле на ногах стоишь. Отдохнуть — вот что сейчас тебе нужно.

— Ты ли это, Дэй? Ушам своим не верю, это ты просишь меня отдохнуть, хочешь, чтобы я уснул в такую счастливую ночь? Невозможно! Мы должны провести ее без сна и встретить вдвоем рассвет...

— Как же ты сможешь такой усталый прогулять всю ночь?

— Мы возьмем такси. Я не хочу спать!

— С ума сошел!..

— Ты можешь считать меня сумасшедшим, если хочешь, только исполни мое желание, Дэй.

— Ну что ж, гулять так гулять, — я готова, дорогой. Но ведь ночью трудно найти такси?..

Узнав о решении Солико, родители его страшно рассердились.

— Это все твои выдумки! — напустилась на меня Анета.

— Нет! — гордо усмехнулась я. — Это желание Солико.

— Что ты придумал, сын, на ужин у нас гости, неудобно, что скажут люди?! — возмущалась Анета.

— Вот и ужинайте себе на здоровье, а мы с Дэем тем временем погуляем, да не забудьте выпить и за нас! — от души рассмеялся Солико.

— Сумасшедший!.. — рассердилась Анета.

— Ему сегодня все прощается, уважаемая Анета, — вступился за Солико его профессор.

— Да ведь на дворе дождь! Где слыхано гулять под дождем?! — не сдавалась Анета.

— Анета права, на дворе дождь, вы простудитесь, дети, — поддержала ее мама.

— Мы возьмем такси, не сердись, мамочка, ну пожалуйста.

Анета неожиданно улыбнулась, это уже означало, что она сдалась. Я схватила Солико за рукав и повела его к выходу. Солико помахал рукой родителям, и мы со смехом выскочили на улицу.

На улице действительно шел дождь. Неподалеку, на счастье, остановилось такси. Мы подошли к нему. Шофер, молодой человек, услышав, что мы желаем прокатиться, улыбнулся:

— Ладно, погуляем, если так хотите, садитесь... Какой у вас маршрут?

— Куда поедем, Дзя? — спросил меня Солико.

— Куда повезут, туда и поедем...

— Тогда поедем к Джвари, можно?

— Конечно! Я к вашим услугам!

— Оттуда спустимся в Мцхета, потом вернемся в Тбилиси и будем кататься до тех пор, пока тебе не надоест возить нас.

— Итак, сегодня приказываете вы, что ж, погуляем! — снова улыбнулся водитель.

— Как вас зовут, батано? — спросил у него Солико.

— Бондо. Бондо Чичуа.

— О-о, Ваше сиятельство, князь, простите, что мы с моей невестой утруждаем Вас в полночь нашими нелепыми желаниями, — с артистическим пафосом произнес Солико и тут же, улыбаясь, извинился. — Прости, брат, не обижайся на мою шутку, — и, как старого знакомого, потрепав Бондо по плечу, спросил его: — Ты случайно не сын Дзуку Чичуа?

— Нет, — ответил шофер. — Моего отца звали Георгием.

— А может, родственник?

— Нет, я даже не слышал о его существовании.

— Знаешь, это был замечательный человек! Знаменитый наездник. Помню, еще ребенком раз как-то отец повел меня на скачки. Тот день я запомнил на всю жизнь. Дзуку Чичуа обогнал всех соперников, равных ему не было. А как красиво он сидел в седле! Дзуку покорила меня своим искусством. После того мне довелось несколько раз бывать на скачках, но видеть его больше не пришлось. Он куда-то исчез.

— Одишцы — знаменитые наездники, — с достоинством отметил шофер.

— Ты бываешь на скачках?

— Редко.

— А я хожу. Я люблю ипподром, скачки, люблю ло-

шадей. Что может быть прекраснее этих умных, благородных животных?

— Да, это верно.

— А дождь любишь? — неожиданно спросил Солико.

— Очень! — открыто улыбнулся Бондо.

— Я тоже. Дэя, а ты любишь дождь?

— Будто не знаешь.

— Удивительно, правда, как это мы все трое так подобрались: все любим дождь.

— А что тут удивительного, — пожала я плечами.

— Поверь, Дэя, многие его терпеть не могут, правда, Бондо?

— Да, вы правы, дождь многие не любят.

— На самом же деле дождь — это удивительно. Если прислушаешься к тому, как падают дождевые капли, можно услышать своеобразную мелодию, настоящую симфонию: вы мне верите? А ну-ка, вслушайтесь, неужели не различаете мелодии?!

Мы обратились в слух. Дождевые капли с шумом падали на крышу машины, бились об оконные стекла и словно соревновались друг с другом в многоголосой песне.

— Не правда ли, это восхитительно! — восторженно воскликнул Солико и снова стал вслушиваться.

— Печально, монотонно, но захватывающе, — согласился Бондо. — По правде говоря, я впервые слушаю симфонию дождя. Я люблю дождь; любил его особенно в детстве, когда бегал босиком по двору, но то, что он поет, мне и в голову не приходило.

— Да, да, дождевые капли создают удивительную симфонию, — сказал Солико и, откинувшись на сиденье, вдруг запел «Пестрый дождичек пошел...»

Я удивленно посмотрела на него.

— Почему ты смотришь на меня? — засмеялся он.

— Я и не знала, что ты так поешь.

— Сегодня у меня настроение такое, что я могу невозможное. Хочешь, станцюю, ты только прикажи! Станцюю на улице. Что, не веришь?! Ну-ка, Бондо, останови машину, сейчас я пройду в «картули»!

Шофер остановил машину, обернулся и, улыбаясь, посмотрел на Солико.



Солико потянул дверную ручку, но я, вдруг рассердившись, схватила его за рукав.

— Что ты дурачишься! Не смей выходить из машины, слышишь! Ты что, хочешь простудиться?!

Солико счастливо улыбнулся и горделиво посмотрел на шофера:

— Видишь, Бондо, как беспокоится за меня моя невеста. Что скажешь, послушаться ее и остаться в машине?

— Конечно...

— Тогда поехали!.. Да, а ты не обижаешься, что я говорю тебе «ты»?

— Нет, почему же.

— Терпеть не могу это «вы»! Разве нельзя быть хорошо воспитанным человеком и сохранить теплоту в обращении с окружающими?!

— Конечно, вы правы, нет никакой необходимости в обращении на «вы».

— Дорогой мой Бондо, ты действительно прекрасный человек!

Я удивленно слушала Солико. Нет, таким я никогда его не видела!

— Я сегодня валяю дурака, но, честное слово, мне простительно... Я это заслужил, — словно отвечая на мои мысли, произнес Солико и продолжал: — У меня, Бондо, был сегодня концерт. Я исполнил пятый фортепианный концерт Бетховена в сопровождении оркестра. Концерт Бетховена, чародея музыки, бога, понимаешь!..

— Знаю, слышал.

— Так вот, исполнение этого концерта невероятно трудно. Не думай, что я хвастаю, но говорят, что играл я хорошо... а ты знаешь, что это значит? Адский труд. В течение всего этого времени у меня не было возможности выспаться и поесть как следует, ну а о развлечениях и говорить не приходится, даже телевизора не включал. Чего греха таить, я чуть невесту свою не потерял. С утра до вечера играл, отрабатывая каждый такт, каждую ноту, обдумывал, готовился к этому дню, и вот он настал... А теперь, скажи пожалуйста, имею ли я после всего этого право на радость?

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

— С полным основанием! — коротко бросил ему Бондо.

— Слышишь, Дэя, а ты почему-то сердишься?

— Потому что ты сегодня говоришь очень много.

— Ты права, я, кажется, никогда не говорил столько.

— Вот и успокойся. В такую погоду да еще в машине хорошо мечтать. Помечтай молча.

— Это ты советуешь мне молчать? Я ничего не понимаю. До сих пор ты упрекала меня в молчаливости, называла нелюдимом. Да, да, называла, а теперь, как только я раскрываю рот, сердишься на меня. Клянусь тебе, это странно. Хотя разве вас, женщин, поймешь? Все вы странные.

Вдруг я заметила, что Бондо потихоньку улыбается, и, рассерженная еще больше, толкнула Солико в бок.

— Что с тобой, мне неловко перед этим человеком. Успех, что ли, свел тебя с ума? — шепотом сказала я ему.

— Может, мне онеметь? — тоже шепотом спросил меня Солико.

— Отстань!

— Хорошо, я замолчу. А мечтать можно? Так давайте мечтать! — Солико откинулся на сиденье и закрыл глаза.

Я вся ушла в мысли...

Правда, я рассердилась на Солико, но в душе была довольна, что он наконец стал таким же, как и все его ровесники, раскованным, чуть-чуть сверх меры смелым и несдержанным, таким, каким мне непременно хотелось видеть его. Я мечтала о том, чтобы такого, как сегодня, его увидели наши ребята.

Я чувствовала себя очень гордой. И вдруг услышала тихое, равномерное дыхание. Я взглянула на Солико и вся похолодела. Он сладко спал...

На лбу моем выступила испарина. На миг мне показалось, что Солико оставил меня совсем одну наедине с посторонним мужчиной...

Сердце мое замерло. Прежнего праздничного настроения как не бывало. Вся дрожа, посмотрела я на шофера и тихонько потянула Солико за рукав пальто. Но он даже не шевельнулся. Я только вздохнула. Пришлось оставить его в покое.

— Пусть спит, он устал... — неожиданно проговорил шофер.

Я не ответила и повернула голову к окну, чтобы он не заметил разочарования на моем лице; в душе я кляла себя за то, что согласилась на эту прогулку.

Машина мчалась по мцхетской дороге. Снова беспрестанно лил дождь.

— Может, и вы подремлете? — сказал после некоторого молчания шофер.

— Благодарю, мне не спится.

На переезде у дороги, ведущей к Джвари, шофер остановил машину и показал на переднее стекло.

— Видите, как льет. Выйти из машины невозможно, что вам делать в такую пору в Джвари? Сейчас туда лучше не ехать.

— А куда нам поехать?

— Проедем в Мцхета и вернемся в Тбилиси.

— Вернемся в Тбилиси.

— Пожалуйста.

Бондо повел машину в направлении Тбилиси.

Некоторое время мы оба молчали, молчание нарушил шофер.

— Скоро Новый год. По правилу уже должен пойти снег, а у нас все льют и льют проливные дожди. Прямо как летом.

— У нас всегда как летом, — ответила я, больше для того, чтобы поддержать разговор.

— Да, Грузию не зря называют раем, — тотчас же согласился Бондо: — Как вы думаете, сколько таких уголков на земле?

— Наверное столько, сколько в мире стран, — ответила я, не раздумывая. — Ведь то или тот, кого мы любим, — всегда кажется нам красивым.

— А я думаю, что Грузия одна из главных претенденток на это первенство, — улыбнулся Бондо и процитировал известные строки Маяковского:

Я знаю,

глупость — эдемы и рай!

Но если

пелось про это,

Должно быть Грузию,
радостный край,

Подразумевали поэты.



— Вы любите стихи?

— Очень, а вы?

— По настроению, в зависимости от того, какие стихи.

— А по мне, в каком бы настроении ни был человек, он не может без волнения читать стихи Галактиона. Помните «Веет ветер»... — и он стал мне читать наизусть.

— Вы, наверно, частенько развлекаете свою жену стихами?

Бондо посмотрел на меня с улыбкой.

— Чему вы улыбаетесь?

— У меня нет жены. Видно, не судьба мне еще встретить свою суженую.

— Вы верите в судьбу?

— Верю...

— Мама моя тоже верит в судьбу, а я нет. Она говорит, что, когда рождается человек, уже начертана и его судьба.

— Мама ваша права. Да, никто не в силах изменить ее, изменить то, что написано тебе на роду: никакие мольбы, никакая сила!

— Но кем же, по-вашему, предначертана наша судьба? — иронически спросила я.

— Этого никто не знает, — серьезно ответил мне Бондо.

— Простите, но вы фаталист.

— Не извиняйтесь, меня это совсем не обижает. А вот интересно, что думаете о судьбе вы?

— Мне кажется, каждый человек сам кузнец своей судьбы.

Бондо улыбнулся и после некоторого молчания проговорил:

— Вы повторяете мысль, уже высказанную кем-то.

— Ну и что в этом плохого? Человек пользуется всем, что было накоплено до него, и старается не повторять предыдущих ошибок! К счастью, не все думают так, как вы, люди по природе своей оптимисты, в этом их сила и счастье.

Бондо снова обернулся ко мне и робко сказал:



— Вы не обидитесь, если я буду говорить с вами прямо?

— Пожалуйста.

— Вы рассуждаете по-книжному... Вам улыбается счастье, вы не знали лишений, не знали, что такое борьба за кусок хлеба, поэтому-то вам легко так рассуждать. Да, так обычно пишут в книжках. Так должен думать счастливый человек. А встречались ли вы когда-нибудь лицом к лицу с действительностью? Вы, вероятно, из счастливой семьи, смогли избрать дело по себе; настоящее у вас завидное и еще более безоблачное будущее, и вам, конечно, приятно и легко рассуждать о жизни, говорить о ней красивыми фразами. Вашу судьбу ковали другие, вот потому-то рассуждения о судьбе вам, естественно, кажутся смешными. Счастливые в судьбу не верят...

Его дерзость больно уязвила меня, я искоса поглядела на него, но ничего не сказала в ответ.

А он больше не смотрел на меня. Он мчал машину. Мне хотелось поспорить с ним, в свою очередь наговорить ему грубостей, но почему-то я промолчала.

Бондо словно угадал мои мысли:

— Клянусь вам, я искренне рад, что встретил счастливое человека. Не думайте, что я завидую, я просто сказал то, что думал. Вы сами дали мне на это право. Простите меня и не обижайтесь.

Я не подала виду и холодно ответила:

— Ну что с вами, я нисколько не обижена.

И он не сказал больше ни слова. Так молча мы и въехали на площадь Героев.

На площади Героев глазам нашим предстала страшная картина: вся проезжая часть была затоплена водой.

— Вот это да!.. — сдвинул набекрень свою кепку Бондо.

— Что нам делать? — спросила я растерянно.

— Не беспокойтесь, это уж моя забота...

Бондо протер рукавом запотевшее переднее стекло и оглядел площадь. Потом включил мотор, прибавил скорость и попытался проехать через водяные реки.

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

Несколько метров машина прошла безболезненно, но потом вдруг застряла, и мотор заглох...

— Тьфу, черт возьми! — разозлился Бондо и сердито рванул руль.

На шум проснулся Солико, испуганно посмотрел на меня и удивленно спросил:

— Что случилось, где мы?

— На площади Героев. Чего ты испугался, очнись же! — сердито сказала я.

— Маэстро, нам придется сделать небольшую паузу. Посмотрите вокруг: наводнение, потому и стоим, — объяснил ему Бондо.

— Мы на площади Героев? — тараща глаза и приходя в себя, спросил Солико и виновато посмотрел в мою сторону: — Как это со мной случилось? Я уснул!..

— Ну и что, хороший тебе приснился сон? — спросила я насмешливо.

— Прости меня, Дэя, я очень устал сегодня, — отвел взгляд Солико и стал смотреть в окно. — Действительно, настоящее наводнение. Не представляю, как мы выберемся отсюда?!

— Выберемся как-нибудь, — сказал Бондо и снова попытался завести мотор, но тщетно.

— Никакой надежды? — спросил Солико.

— Так выходит... — махнул рукой шофер и, протянув Солико сигарету, весело сказал: — Курите, впереди целая ночь, что-нибудь придумаем. Времени на раздумье, слава богу, хватит.

— Спасибо, я не курю, — помотал головой Солико. — Куренье расслабляет мышцы.

— Н-да... — двусмысленно произнес Бондо, зажег сигарету и посмотрел в боковое стекло на площадь.

В это время к машине приблизились четверо ребят лет тринадцати-четырнадцати, в закатанных до колен брюках. Прижавшись носами к оконному стеклу, они смотрели на нас с любопытством. Самый высокий постукивал пальцем по стеклу и басом спросил у Солико:

— Эй, шляпа, сам вынесешь свою барышню или тебе помочь?.. Чтобы долго не торговаться, так и быть, за рублик перенесем!

От наглости этих мальчишек Солико вспыхнул, глаза у него чуть из орбит не выскочили, но он ничего

не ответил. Те, очевидно, истолковали его молчание как отказ и со смехом отошли прочь.

— Куда вы, ребята... — растерянно крикнул им Солико, но они отошли уже и не слышали его.

Бондо искоса посмотрел на Солико и едва заметно улыбнулся. Перехватив его взгляд и эту улыбку, я поняла, что он смеялся над беспомощностью моего жениха. Мне стало стыдно, боясь встретиться с ним глазами, я отвернулась.

— Что нам делать?.. И ребята убежали... — горестно вздохнул Солико, с отчаянием поглядев на свои точеные пальцы, потом вдруг махнул рукой и с несвойственной ему решительностью произнес: — Я сам понесу тебя!..

— Ты с ума сошел! Тоже мне, нашел неженку, выберусь как-нибудь сама! — Я быстро отворила дверцу машины и шагнула в мутную холодную воду.

— Остановись, Дэя, подожди, простудишься... — крикнул Солико, но я, будто и не слыша, задрала полы пальто и довольно энергично продолжила путь.

На счастье впереди появились знакомые силуэты — те самые мальчишки. Я указала им на машину и крикнула Солико:

— Не смей идти по воде, простудишься, ребята помогут тебе.

Мальчишки со смехом направились к машине. Двое из них, подхватив Солико, перенесли его на тротуар.

Глядя на эту картину, я весело рассмеялась и тоже устремилась к тротуару.

Спокойно топала я по воде и, несмотря на то, что было довольно холодно, не торопилась. Такого я никогда еще не испытывала, и мне почему-то сделалось очень весело.

Вдруг я услышала, нет, скорее почувствовала чьи-то шаги и, оглянувшись, встретилась взглядом с Бондо. Я ускорила шаг.

— Подождите. Вы все равно уже вымокли до нитки, теперь торопиться не к чему!.. — крикнул он мне.

Я остановилась и подождала его, бежать, действительно, не имело смысла.

Нана Канделаки. И тогда шел дождь.

— Что вам за охота идти по холодной воде? — сухо спросила я его.

— Ночь, на улице столько всякого народу, я подумал, еще обидит вас кто ненароком, все-таки моя пассажирка...

— О, какой отзывчивый водитель!..

— За отзывчивость я получил несколько благодарностей от министра, — улыбнулся Бондо.

— Если мои слова имеют для вас какое-нибудь значение, примите и мою благодарность.

— Как жаль, что вашу благодарность не слышит мое начальство.

— Ну что ж, видимо, на следующем вашем производственном совещании мне придется выступить по этому поводу с речью.

— Вы меня очень обяжете, — почтительно склонил голову Бондо.

— Скажу вам откровенно, я была совсем другого мнения о шоферах.

— Оказывается, не такой уж мы, шоферы, плохой народ, правда? — снова рассмеялся Бондо.

«Наверное, я веду себя с ним довольно фамильярно», — подумала я с досадой и прибавила шаг, ища глазами Солико.

Бондо, словно угадав, о чем я думаю, протянул вперед руку:

— Ребята опередили нас. Ваш жених в безопасности. Я не ответила.

Бондо, вероятно, почувствовал, что мое хорошее настроение вдруг улетучилось. Он больше не заговаривал со мной и молча шел рядом. А когда мы ступили на тротуар, попрощался легким наклоном головы и остался стоять на месте. Я тоже невольно остановилась. Он стоял и все также молча смотрел на меня. Потом вдруг, словно поняв, что мне неприятно его присутствие, повернулся и пошел обратно.

Окончание следует



ЛУАРСАБ Размадзе открыл глаза и подумал: «Я, кажется, родился».

Позже (в повесть это не войдет), когда, окончательно проснувшись, он припомнит эту фразу и так же иронически посмеется над собою, как обычно смеется над другими, в душе он будет убежден: эта неуместная мысль явилась окончанием сна, а не началом пробуждения. В действительности же, разумеется, дело обстоит несколько иначе. В действительности это редкий и неуловимый миг, когда два тела в одно и то же время занимают одно и то же место, когда человек лицом к лицу сталкивается с самим собой, когда трезвая и отточенная логика уже явилась на службу и, засучив рукава, уселась за рабочий стол, с которого уборщица еще не успела смахнуть алогическую пыль. Однако Луарсаб Размадзе этого не знает (и, может статься, не узнает никогда). Луарсаб Размадзе подумал: «Я, кажется, родился» и, когда в сознании молнией сверкнул и погас давешний сон, вспомнил,

Джемал **КАРЧХАДЗЕ**

ДЕНЬ ОДИН

●
Повесть

Перевод
Александра ЗЛАТКИНА

что сегодня утром ему исполнилось шестьдесят лет.

Он лежал на спине, устремив взор в верхний угол комнаты, туда, где потолок образует со стенами Декартову систему координат.

Мысли на мгновение остановились, замерли и притормозили время. Потом, когда Луарсаб Размадзе на свой, особый манер улыбнулся в усы, эта улыбка стала толчком, от которого мысли задвигались и пришли в расстройство.

«Интересно, когда я умру? (пауза). Где и при каких обстоятельствах?»

Он сложил руки на груди, поверх одеяла; потом вспомнил покойников, виденных на многочисленных панихидах, и сдвинул руки чуть пониже, к животу.

«Что умру — это ясно. Все умирают. Енох, по-видимому, тоже умер. Умирают даже те, кто с избытком наслаждался жизнью».

Мemento, дамы и господа!

Он тихо усмехнулся. Потом вдруг обнаружил, что держит в руке часы. Перед сном он всегда клал их у изголовья и утром брал совершенно механически, как опытный шофер переключает скорость.

Вот бы взять и бросить работу... Неплохой был бы эффект, принеси он и вправду заявление Президенту...

Он видел Президента. Он действительно видел Президента; только Президент был не похож на себя... (Сон на миг вспыхнул и погас).

Он положил часы обратно на маленький низкий столик, на котором стояла лампа с голубым абажуром и лежала книжка небольшого формата в черной обложке — легкое чтение на сон грядущий.

«Который был час?» — с удивлением подумал он вдруг, сморщив лоб. На часы он, стало быть, взглянул просто так, бессмысленно, не заметив времени.

«Какие странные выражения встречаются в языке! Как можно заметить время по часам? Что общего у часов с временем?»

Впрочем, общее есть. Часы — это тюремщик, назначенный временем. Не успеет узник проснуться, он тотчас же прикинется к дверной щели и увидит тюремщика.

Луарсаб Размадзе никогда специально не думал об этом, он и так знал, что взгляд на часы, брошенный при

пробуждении, был явлением случайным, а случайность эта за много лет превратилась в привычку. Однако нынешним утром все виделось ему под каким-то необычным углом, и смутный страх, словно кошмар, шагнул из-за окна в комнату бесформенными, огромными лапами. И в ту же секунду, когда в опасной гуще этой бесплотной массы замерцала далекая искорка, которая в силу непонятной веры должна была вырасти в блаженство, кошмар исчез и стало очевидно, что взгляд на часы при пробуждении есть не случайность, но столь же неизбежное следствие неосознанной закономерности, как и плач новорожденного.

«Часы действительно похожи на плач, — подумал Луарсаб Размадзе. — Весьма возможно, что часы и плач означают одно и то же».

Он высвободил из-под одеяла грудь и глубоко вдохнул чистый воздух, лившийся в распахнутое окно.

Часы — это насилие. Самоубийство в миниатюре.

Сравнения казались ему неясными, и в поисках лучшего он слегка напряг не совсем еще очнувшееся от сна сознание. Голова словно онемела. Во всяком случае, он ощущал нечто такое, что напоминало и боль, и оцепенение.

Часы — это овеществленное время.

Пространство выделило вещество и островками разбросало его в море собственной бесконечности, чтобы создать этим количество, это странное понятие, которое человеческий гений (смех разлился где-то в области живота и там же пропал) избрал исходной точкой на пути познания. Время тоже кое-что создало, но этому кое-чему человек не поверил, оно показалось ему недостаточно осязаемым, и он изобрел часы. Часы — тот же островок, только в море времени.

А островок — это верный признак затопления.

Луарсаб Размадзе потянулся и внезапно понял, что, когда думаешь о таких вещах, не следует иметь растительность на груди.

«Кажется, я еще сплю», — подумал он и покачал головой. Возникла легкая боль, на которую он даже не обратил внимания. Это была такая боль, которая сама проходит, когда встанешь.

Он отбросил одеяло и сел на кровати. Лицо его было обращено к открытому окну, и свежее утро приятно, волнами впиталось в тело.

Когда новорожденное, еще нетленное в своей нравственности утро, светлое и улыбочливое, унизанное блестящими чернослива и пропитанное запахом ореха, беспрепятственно проникает в плоть и по-хозяйски водворяется в ней, возраст утрачивает свою солидность, и в тело шестидесятилетнего мужчины нисходит душа ребенка. Правда и то, что такое блаженство должно в следующий миг исчезнуть, иначе оно может убить, ибо блаженство — та же боль, только имеющая другой заряд.

— Елена!

Звук унес с собою избыток блаженства. Теперь Луарсаб Размадзе сидел, смежив веки, на кровати и со спокойной радостью ощущал свежее утро, прозрачный, здоровый горный воздух и спелый аромат фруктового сада. Затем, когда где-то скрипнула дверь и с балкона послышался звук шагов, в голове сложилось: «И была у него прекрасная супруга, по имени Елена».

Родители, братья и сестры называли ее Эли, и в этом ласкательном имени, благодаря его нежности и утонченности, сквозила не только особая любовь к младшему ребенку в семье, но и констатация высокого экономического уровня этой семьи и ее робкая претензия на аристократизм.

Калистратэ, отец Елены, был должностным лицом и по общественному своему положению относился к тому слою, который угощался политическими обедами, но при этом имел столь гордый и довольный вид, что со стороны казался истинным хозяином положения, и чья главнейшая забота в области культурной жизни состояла в том, чтобы попасть на концерт знаменитого иноземного тенора-гастролера в первый же день, и притом занимая места никак не дальше третьего ряда.

Дело это, в общем-то, не представляло особой трудности, и упомянутый слой управлялся с ним довольно легко. Последующий груз оказался куда тяжелее. Когда природа ощутила пустоту в том месте, где затонула аристократия, и потребовала заполнения пропущенной строки, эту нелегкую задачу то ли судьба, то ли

неосознанное человеческое стремление, то ли какая-то другая сила возложила именно на этот слой. И, в силу нелепого стечения обстоятельств, понятие «аристократия» превратилось в синоним некогда противоположного себе понятия «должность». Вот тогда-то кое-кто, перерыв допотопные сундуки своих бабушек, потихоньку извлек из них такие крохотные масочки, как, например, стилизация имени ребенка, целование ручки жены коллеги и тому подобное. Некоторые попытались даже играть в салоны, но это начинание зачахло на корню, поскольку, во-первых, салон всегда подозрительно пахивает, а во-вторых, любая попытка салонного времяпрепровождения неизменно переходила в совершенно обычный кутеж с питьем из рогов, жареными поросятами и прочими не свойственными салону причиндалами.

Калистратэ все-таки предпочел галстуку рог с вином. Он был крестьянином по природе и лучше всего чувствовал себя в деревне, в дедовском доме. Лишь там, одетый по-деревенски и увлеченный неспешной беседой с соседями, становился он настоящим Калистратэ и реальным человеком. В городе же он был директором, ибо судьба уготовила ему директорское кресло, и частицей того круга, который стремился на концерт непременно в первый день и непременно в первые три ряда.

Калистратэ не хотел ни первого ряда, ни последнего. Более того, он всей душой ненавидел приезжих теноров, которые с пением убивали собственных жен, но что он мог поделать? Директору положено заботиться о повышении своего культурного уровня.

Сколько помнил Луарсаб Размадзе, Калистратэ всегда был директором. В различных сферах, различных отраслях, на разных участках, но обязательно директором. И, как это часто бывает с простодушными и добрыми людьми, не имеющими собственного мировоззрения, он принял пост как некую неизбежность и так долго, с таким усердием директорствовал, что под конец и в самом деле стал директором. И был директором везде — и в семье, и с соседями, и с родственниками. Будучи же везде директором, он обращался со всеми, как со своими подчиненными. Впрочем, допускал все

же два исключения. Первым были отношения с Еленой. Младшую дочь он любил особенной любовью, разговаривал с нею присюсюкивая и обращался с ней так ласково, что, узнай о том сослуживцы, авторитет директора в учреждении наверняка пошатнулся бы. И поскольку семья тоже являлась своего рода учреждением, а домашние — своего рода сослуживцами, то во время общения с дочерью он в глазах домашних выглядел человеком, надевшим чужое пальто и ни на мгновение не забывающим об этом. Вторым исключением была деревня. Какие тут действовали причины, сказать с уверенностью не может никто. Единственное, что не подлежит сомнению, это сам факт: совершенно бессознательно, без всякого умысла, он сбрасывал директорскую мантию, словно кожу, где-то на подступах к деревне, и она ждала там, пока он не отправлялся обратно в город.

Во всех остальных случаях он был всецело директором. При первой встрече его официально-любезный тон удивил и даже слегка обидел Луарсаба Размадзе, однако позже, узнав тестя поближе, Луарсаб Размадзе усмехнулся про себя и перестал обижаться.

На самом деле это был мешковатый и милый человек. Мешковатыми у него были и внешность, и характер. Имущество свое он, однако, умножал. Луарсаб Размадзе скоро догадался, что накопление имущества столь же претило ему, сколь и заграничные тенора, и виной всему было глубокое убеждение, что должность и общественное положение так же требуют от него накопительства, как и посещения концертов. А вот Тина, его жена, считала любовь к богатству личным качеством мужа. Поэтому, узнав о любви Елены и Луарсаба, она только развела руками, хотя было очевидно, что жених ей понравился. Ее отказ был продиктован покорностью мужу и директору; будущей теще и в голову не могло придти, что Калистратэ, ревностно стяжавший материальные блага, отдаст свою дочь, возвращенную и взлелеянную с такой любовью, Луарсабу Размадзе, чьим единственным достоянием были принципы и «бескомпромиссная свобода мышления». Однако муж взглянул на дело совсем иначе. Именно тогда произнес он слова, ставшие впоследствии крылатой фразой в семье Луарсаба Размадзе, где

ею великолепно пользовались для придания комизма совсем уже нелепым ситуациям: «Главное, чтобы материал был качественным, а приготовление — это наше дело». В тот период он руководил то ли изготовлением соков, то ли обработкой какого-то сырья.

Так директорствовал мешковатый человек в различных учреждениях, поднимал со ступеньки на ступеньку экономику семьи, а когда прямая линия жизни, неизбежно создающая иллюзию, будто человек постиг свое предназначение, сподобила его и аристократического оперения, он принялся, стремясь застраховаться от случайностей, кроить ласкательные имена своим детям по особому образцу.

Сам Луарсаб Размадзе всегда называл Елену полным именем, а когда возникла необходимость дать этому объяснение, сказал: «Боюсь, назвав тебя половиной имени, и вправду разделить тебя пополам».

Конечно, это была всего лишь фраза. На самом же деле таким своеобразным обособлением и отличием Луарсаб стремился противопоставить себя мещанскому быту тестя и ему подобных. Он терпеть не мог этих людей, которые тщетно пытались показным достоинством и пустой манерностью замаскировать свою истинную сущность. Калистратэ с супругой своею Тиной, наверное, пришли бы в величайшее изумление, скажи им кто-нибудь, что в то время как они, после долгих колебаний и лишь уступая своей особой любви к младшей дочери, давали согласие на брак Елены с Луарсабом, ещё большие колебания испытывал сам Луарсаб. Между тем это была сущая правда. Луарсабу тогда было двадцать пять лет, он только что окончил философский факультет, не работал (что не слишком его тревожило, ибо службу он уподоблял дамбе, препятствующей вольному течению реки) и единственным настоящим принципом полагал «бескомпромиссную свободу мышления». Естественно, такой человек вовсе не желал связывать свою жизнь с кругом, в котором вращались Калистратэ и его семейство. Но уступить Елену он тоже не мог. Елену он очень любил, рядом с нею он чувствовал себя сильнее, свободнее, счастливее.

Позже, когда он поближе узнал тестя и ^{понял}, ка-
кое сердце скрывалось под мантией...

Понял ли?..

Луарсаб Размадзе вздрогнул.

Должно быть, оттого, что дверь открылась и вошла
Елена.

«Чем бы я был теперь, если бы и вправду отказался
тогда?»

Елена, улыбаясь, подошла, наклонилась и, положив
руку ему на плечо, поцеловала в правый висок.

— Удивительно, почему мы не поздравляем друг
друга со смертью, — сказал Луарсаб.

— Потому что мертвые не слышат, — спокойно от-
ветила Елена.

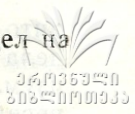
— А живые? — взглянул на нее с улыбкой Луарсаб.

— Ну, это смотря кто.

Луарсаб знал давно: какими бы неожиданными и
неуместными ни были его слова, что бы он ни сказал
алогичного, жуткого, циничного, — Елена никогда не
раздражалась, как это свойственно в такие моменты
обычным людям; она отвечала спокойно, убедительно
и не усматривала никакого позерства в таких стран-
ных и внезапных выпадах.

Луарсаб поднялся, обнял Елену за плечи и подвел
к большому зеркалу в позолоченной раме. Сначала он
внимательно оглядел в зеркале жену, а затем обра-
тился к собственному отражению.

— Голова изрядно поседела, но шестидесяти лет
все-таки не дать. — Тут он выпрямился, откинул голо-
ву назад и с забавной высокопарностью начал: — Се-
годня, девятнадцатого августа сего года, Луарсаб Раз-
мадзе, доктор исторических наук, профессор, первый
среди первых кандидат в академики... — в зеркале
мгновенно промелькнул сон, но тут же исчез, не успев
создать какой-либо угрозы для высокопарности. — Че-
ловек образованный и талантливый, представительный
и... — он слегка заколебался, приблизил лицо к зер-
калу, взгляделся. — Представительный и симпатичный,
в уютном домике, окруженном фруктовым садом, праз-
днует наступление шестьдесят первого года своей жиз-
ни. — Сказав это, он обратился к зеркальному отра-
жению жены, смотревшей на него со спокойной улыбка-



кой: — Мне вспомнился твой отец. Я потому и сидел на кровати в такой задумчивости.

— Ты смеялся над ним?

Луарсаб удивился:

— Почему смеялся?

— Ты всегда над ним посмеивался.

Луарсаб посмотрел в глаза жене. Потом медленно, тяжело покачал головой.

— Тем хуже для меня, если посмеивался. Насмешка есть признание собственной неполноценности. — Тут он помолчал и продолжил: — Во всяком случае, в деревне я над ним не смеялся. В деревне я даже любил его. Будь я господом богом, я указал бы каждому человеку его место и на том покончил бы дела.

«Будь я господом богом, я бы каждого судил по справедливости», — в зеркале пропали отражения и появилось глубокое, бесконечное пространство.

— И где, по-твоему, место моего отца? В деревне?

Отражения вернулись в зеркало, и Луарсаб усмехнулся.

— Разве меня спрашивают, где чье место! Ну а то, что место твоего отца было в деревне, я знаю точно. Даже представляю его себе: на голове войлочная шапочка, сам облачен в просторную крестьянскую рубашку, подпоясанную ремешком, и, что-то напевая, подрезает лозу. Если бы он только знал, почему ему так хорошо бывало в деревне, может, плюнул бы да бросил город ко всем чертям. — Луарсаб улыбнулся. — Вот тогда и разразился бы скандал в благородном семействе! Город со своими неизбежными ритуалами был для него сущим адом. Домашние таких вещей не замечают; к тому, что видишь изо дня в день, глаз быстро привыкает, и повседневное зло уже не кажется злом. Однажды он растрогал меня чуть не до слез.

— Каким образом?

— Это было после концерта симфонического оркестра. Приезжал какой-то не то бельгийский, не то голландский дирижер. Твой отец уединился со мною в кабинете и спросил, понравился ли мне концерт. Я ответил, что не слушал концерта. Такого ответа он, по видимому, не ожидал. Почему это, спрашивает сер-

дито. Не люблю, говорю, симфоническую музыку. Видела бы ты, что с ним стало! Упал на стул и с таким изумлением, с таким ужасом уставился на меня, словно перед ним не любимый зять, а какой-нибудь персонаж Герберта Уэллса, только что явившийся с Марса. Большого труда стоило объяснить ему, что человек может не любить симфоний и по этой простой причине не пойти на концерт бельгийского дирижера.

— Ты и сейчас насмехаешься над ним.

— Вряд ли. По крайней мере, убедившись в этом, он не разозлился, не возненавидел меня, как это часто бывает, а обрадовался и полюбил меня еще больше. Просветлел лицом и распечатал бутылку того коньяка, который обычно доставал лишь по случаю рождения ребенка или свадьбы, или в честь какого-нибудь великого праздника. И кроме того, в тот вечер я единственный раз за все время не чувствовал себя подчиненным, с которым говорит директор.

Елена добродушно засмеялась.

— Да, это верно. Со всеми нами он обращался, как с подчиненными. Со стороны же Луарсаба Размадзе и то весьма любезно, что он тратит столько времени на воспоминания о тесте. Одевайся, умывайся, а я пока сварю тебе кофе.

— Поздравителей пока не видно?

Елена обернулась.

— Еще рано.

— Да, правда. Который час?

— Рано еще.

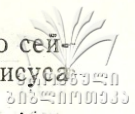
Елена вышла.

Луарсаб подошел к окну. Первые, еще прохладные лучи только что поднявшегося солнца косо падали в сад, и унизанные плодами ветви деревьев переливались всеми цветами радуги.

Луарсаб Размадзе глядел в сад и смутно ощущал, что на вершине шестидесятилетия завелась какая-то неясная, безымянная тревога. Он только не мог разобрать, родилась ли она в его собственном существе или проникла туда извне.

«Всему виною то, что я не смог узнать время», — подумал он и прищурил глаза, чтобы полнее насладиться игрой солнечных лучей.

Елена сказала, что еще рано, но ведь «рано» ничего



не значит. Что такое «рано»? Что раньше — то, что сейчас, или «раньше» было тогда, когда распяли Иисуса Христа?

У времени должны быть зарубки, вроде тех, что делают на своих палках пастухи, когда пересчитывают овец, это значительно облегчает дело.

Луарсаб потерял лоб и отошел от окна. Быть может, виною всему не время, а сон?

«Лучше всего сейчас будет умыться и позавтракать», — решил он и твердым шагом направился в ванную.

Прохладный душ доставил ему удовольствие, и из ванной он вышел веселым и бодрым: ослепительное утро словно слегка щекотало его своим здоровым воздухом, и Луарсаб чувствовал себя великолепно. Давешнюю неясную тревогу и неуместные размышления унесла холодная вода. Луарсаб Размадзе сейчас был снова Луарсабом Размадзе, то есть человеком, хорошо знающим цену себе и цену другим, а также разницу между этими ценами, вследствие чего у него была твердая походка, свободные и непринужденные манеры, уверенный вид и доброжелательная улыбка.

Налив ему кофе, Елена поставила на стол бутылку коньяка и две маленькие рюмки.

— Может быть, выпьем за твоё здоровье?

— Да-да, разумеется! — поспешно согласился Луарсаб и наполнил рюмки. — Дабы иметь возможность провозглашать тосты за чужое здоровье, необходимо прежде пожелать здоровья самому себе.

— Будь здоров! — улыбнулась Елена.

— Так не годится, — покачал головой Луарсаб. — В тост надо вкладывать всю душу. Надо же порадовать человека, если тебе это ничего не стоит. Будь здоров, мой Луарсаб! За здоровье Луарсаба, друзья! За здоровье человека большой души, достойного гражданина, деятеля на общественной ниве, истинного грузина! Вот это тост! Тут все ясно как день. «Нива» — это хлебное поле, стало быть, «деятель на ниве» — это тот, кто собирает урожай.

— Отец мне как-то сказал...

— А-а! Ты тоже его вспомнила? — перебил Луарсаб. — Оказывается, недугу сентиментальности подвержен не я один.

— «Мне бы талант твоего мужа, да при моей бы совести, — я б, наверное, все бросил и постригся в монахи».

— Что?! — рука Луарсаба с кофейною чашкой замерла в воздухе, и он, опешив, долго, не отрываясь, глядел на жену. Потом успокоился, осторожно поставил чашку на блюдце и улыбнулся. — Вот тебе и милый, наивный человек! Притворялся, значит? Впрочем, раз в жизни каждый изрекает какую-нибудь непонятную мудрость. — Залпом проглотив кофе, он стиснул чашку обеими руками и задумался. — Таланта, стало быть, пожелал моего, а совесть предпочел собственную... — Здесь в голосе его на миг прозвучала обычная ирония: — Первое меня полностью удовлетворяет, а вот второе вызывает жгучее негодование. — Затем вновь продолжал задумчиво: — Нет, я не утверждаю, что на моей совести нет ни единого пятнышка. Человек потому и рождается, что совесть его не совсем чиста; но ведь существует же такое всеобъемлющее и сладкое, словно колыбельная, понятие, как относительность? Нет, здесь кроется какой-то парадокс, который с ходу не объяснить. — Луарсаб вновь поставил чашку на блюдце. — Ладно, оставим сомнительные проблемы и перейдем к практическим вопросам. Как обстоят дела с обедом? Ты же знаешь, вечером соберутся сплошь избранные деятели на ниве, не ударить бы лицом в грязь!

— Все, что нужно, есть. Печеное привезет Лариса; она должна быть к десяти часам.

Луарсаб правой рукой сжал левое запястье.

— Так и знал! Часы остались в спальне.

— Что ж такого?

— Ничего. Украсть-то некому! — Луарсаб встал. — Прогуляюсь в саду.

— Да, чуть не забыла! Звонил Петрэ.

— Который?

— Большой.

Луарсаб зевнул.

— И что же?

— Поздравил тебя. Сказал, что вечером, наверное, придти не сможет, должен ехать в город.

Луарсаб выдержал небольшую паузу. Затем, баясь, сказал:

— Хочет увильнуть? Ничего, все равно явится. В последнюю минуту вспомнит, что я все-таки Луарсаб Размадзе. — И уже выходя из комнаты, крикнул: — Если что понадобится, я в саду.

— Хорошо.

Он зашел в спальню и взял часы. Стрелки остановились на половине седьмого. Он не стал переводить их, просто надел на руку и спустился во двор.

Перед домом была лужайка, покрытая зеленой, сверкающей травой. Справа, пониже, от кухни к калитке вела усыпанная желтым и белым гравием дорожка, не слишком узкая и не слишком широкая, как раз такая, чтобы на ней свободно уместилась одна машина. Остальной участок, пологий и довольно обширный, был полностью отведен под сад. Сад этот был разбит свободно и, судя по всему, без учета «агротехнического опыта» и «современных достижений науки». Поэтому здесь царил безыскусственная красота, и облаченный в красочные наряды сад вольно и непринужденно дышал первобытными, неистребимыми ароматами.

Этот участок был настоящей любовью Луарсаба Размадзе. И если бы возможно было собрать вместе и рассортировать все виды любви, то после Елены он больше всего на свете любил здешние места. Прежде за Еленой следовали дети. Тогда дача помещалась на третьем месте. Это звучит кощунственно лишь потому, что людям все-таки неприятно выслушивать правду, а в сущности, тут нет ничего противоестественного и оскорбительного. Луарсаб Размадзе и прежде любил своих детей, и сейчас их любит, просто теперь эта любовь не отличается былою пылкостью. Ни отец, ни дети в этом неповинны. Сначала Луарсаб считал это частным случаем, с беспокойством наблюдая, как рвутся с повзрослением детей самые болезненные струны любви, которые совсем еще недавно определяли почти все его

существование на этом свете, и упрямо, беспощадно искал в собственной природе такие качества, которые могли бы объяснить это явление. Потом он стал исподтишка наблюдать за другими отцами и, обнаружив везде одну и ту же картину, понял, что причина коренится значительно глубже и носит куда более общий характер. Он долго размышлял об этом и в конце концов нашел удовлетворительный ответ... Ответ был такой: окончательное рождение человека происходит не тогда, когда он покидает материнское лоно, а много позже, когда он извлекает из общемирового сознания свою личную долю сознания. А до тех пор жизнь ребенка, его независимость, его страх, его сомнения, его свобода, все, что позднее объединится в слове «разум» и превратится в орудие противопоставления себя миру, пребывает в родителях. До известного времени ребенок продолжает существовать в родителях. Родители боятся за ребенка, сомневаются за ребенка, живут за ребенка. Именно в этом и состоит та острая любовь, именно это и есть те сокровеннейшие струны, которые с течением времени, в зависимости от того, как развивается ребенок, как он требует причитающихся ему страха и сомнений, рвутся одна за другой, вызывая безнадежное ощущение невосполнимой пустоты. Переживание это неотвратимо, и никому не дано его избежать. Правда, некоторые родители упрямо пытаются не возвращать ребенку его законную жизнь, оправдываясь тем, что таким образом они облегчают ребенку боль, на самом же деле, если это и не бессознательный эгоизм, рожденный опасением разрыва струн, то уж во всяком случае безрассудство. Не отдашь добровольно, заберут силой. Никто не в силах нарушить закон природы. Никто не может страдать вместо другого и жить вместо другого. Каждый должен умереть сам.

Кто знает, быть может, это и не так, но главное, что Луарсаб сам уверовал в собственную теорию, а уверовав, ощутил великое облегчение. Отныне он взирал на других отцов с определенных позиций и без труда находил факты, подтверждавшие открытый им закон.

Первой же и главной его любовью, которой никогда не угрожали никакие превратности, была Елена. Елена как-то сразу же овладела всем его существом, она внезапным марш-броском проникла в глубочайшие пла-

сты его сердца и воссела на королевский трон. Любовь, как и все остальное, имеет свои полюса, и насколько возвышенным и божественным бывает верхний ее полюс, настолько же низменным и грубым бывает нижний. В любви к Елене был только верхний полюс. Во всяком случае, Луарсабу никогда не казалось (как это обычно бывает), что он бессмысленно тащит какой-то тяжелый и неотвязанный груз. С поразительным тактом, органически присущим ее натуре, Елена так незаметно правила всем вокруг, что правящая рука нигде не была видна. Ничего не попадалось на глаза, ничего невозможно было заметить сверх того, чего требовала необходимость. В трудные времена она не теряла стойкости. Никогда не сказала бы человеку той правды, которую он скрывал, напротив, она помогала ее скрыть и выдвигала на передний план другую, приятную тебе правду. И безошибочно чувствовала, когда ей следовало быть только женщиной, а когда — и человеком.

Такой панегирик, разумеется, произносился разве что в душе, в общении же господствовал тон легкой иронии, так как Луарсаб Размадзе не любил афишировать свои чувства. Не любил не только потому, что считал это дурным тоном, недостойным мужчины, но и в силу убежденности, что это препятствует человеку в человечности; приучает к поверхностности и душевной лени. Если бы он в свое время поделился с Еленой своими мучительными раздумьями по поводу рвущихся струн, все потеряло бы цену. Даже если бы Елене и не передались его сомнения, само по себе разделенное горе утешило бы боль, и он уже не мог бы открыть тот закон. Дело же не в том, верен этот закон или нет, дело в том, что мысль вынуждена погружаться вглубь, искать и не успокаиваться. Нужно беречь как зеницу ока любое сильное чувство, и неважно, мучение оно или радость.

Гм... Сейчас это вызывает у Луарсаба улыбку, но когда-то невыносимые мучения и целую вереницу бессонных ночей доставил ему Петрэ Большой.

Петрэ Большой в ту пору еще не назывался Большим, поскольку его головокружительная и, на первый

Джемал Карчхадзе. День один.

взгляд, неожиданная карьера только начиналась; кроме того, на арену еще не выступил другой Петрэ, чьи малые габариты если не обусловили, то, по крайней мере, ускорили превращение первого в «Петрэ Большого». Однако карьера была уже начата, птичка уже вылетела из гнезда, летучая мышь уже расправила крылья. Только в отличие от известной летучей мыши из сказки, Петрэ Большой прекрасно освоился на новой орбите и незамедлительно приступил к выполнению необходимых ритуалов. Когда, поднимаясь по общественной лестнице, делаешь качественный скачок, то, оказавшись на новой орбите и внимательно оглядевшись по сторонам, легко понимаешь, что первым делом надо взять тряпку и тщательно стереть все линии, связывающие тебя с нижней орбитой, чтобы однажды ночью, оставшись наедине с собою, не вспомнить ненароком чего-нибудь такого, что помешает тебе спокойно спать.

Взять тряпку и стереть линии — это, конечно, чистая метафора, это легче сказать, чем сделать, в действительности же разрыв этих связей — процесс трудоемкий и долговременный. Например, если к кому-нибудь из близких ты ходил в гости раз в неделю, то, поменяв орбиту, в первое время должен ходить к нему хоть бы раз в две недели, затем — раз в три недели, потом раз в месяц и так далее. Короче говоря, надо так потихоньку, неприметно прекратить общение с человеком, чтобы это никому не бросилось в глаза и не стало предметом для разговоров. Это, конечно, простейший пример. Гораздо труднее, скажем, постепенно изменить характер отношений таким образом, чтобы тот, кто до сих пор был с тобою на «ты» и обращался к тебе по имени, незаметно и непринужденно перешел на «вы» и стал добавлять либо почтительное «батано» перед твоим именем, либо отчество после.

Для решения этих и подобных им проблем у каждого имеется свой способ. Петрэ Большой, например, в отношениях с Луарсабом и его семьей прибег к весьма оригинальному и остроумному приему. Впрочем, следует заметить, что здесь имел место не совсем типичный случай. Луарсаб и Петрэ Большой вместе окончили университет, провели бок о бок друг с другом немало времени, хорошо друг друга знали и имели много общего. Разорвать такую связь, мягко говоря,

нелегко. Петрэ Большой, по-видимому, принял во внимание это обстоятельство и счел целесообразным не прерывать отношений, но перевести их в желательное ему русло. Начал он с того, что перестал спорить. Мастерски избегая разговоров на серьезные темы, он старался спустить проблему на тормозах, перебивал, сводил все к шуткам, словом, всячески пытался вырвать одну за другой связующие их нити из глубины и протянуть их по поверхности. Затем последовала своеобразная монополизация юмора. Шутки Луарсаба отныне встречались со скучающим лицом и откровенно подавляемыми зевками, а если шутка касалась непосредственно его, Петрэ с подчеркнутой серьезностью блестял стеклами очков и с видом, в котором сквозили удивление, усталость и холодок, делал продолжительную педагогическую паузу. Зато собственным шуткам смеялся от души и внимательно следил за реакцией Луарсаба. Пару раз он «принял» Луарсаба в служебном кабинете и, поставив под холодный душ жесткой официальности, наглядно продемонстрировал высоту своей орбиты.

Но это еще пустяки. Главным были отношения с Еленой. И здесь прием, избранный в самом начале, Петрэ Большой не стал впоследствии ни развивать, ни менять. По-видимому, он решил (и, судя по всему, не ошибся), что так он быстрее добьется требуемой межорбитальной дистанции. В частности, его тактика состояла в том, что всякий раз при встрече он целовал Елене руку и говорил ей какой-нибудь дежурный комплимент, сопровождая его такой улыбкой, что, казалось, лишь учитывая определенные обстоятельства, он изо всех сил сдерживается, чтобы в его поведении не промелькнул оттенок дерзости.

Даже теперь, много лет спустя, Луарсабу с трудом удастся хладнокровно смотреть на все это, потому он и не знает, действительно ли была столь сложной эта улыбка, на самом ли деле несколько раз Петрэ Большой вложил в свои дежурные комплименты недозволенную фамильярность, или это ему только почудилось. Во всяком случае, факт, имевший место в тот период, остается совершенно объективным, совершенно

реальным и совершенно идиотским: Луарсаб Размадзе начал ревновать.

Ревность его была беспочвенной, бессмысленной и оскорбительной; рассудок хорошо понимал это, однако доводы рассудка во внимание приняты не были.

Это была не слепая, юношеская ревность. Напротив, временами Луарсаб с мучительной ясностью ощущал, что его ревностью управляет какая-то злая и безжалостная сила, какой-то дьявольский расчет, скрывающийся под темной мантией, который порою выглядывает из своего невидимого тайника, однако не смеет войти в светлый мир разума, подобно демонам, которые, прячась в собственной тени, с ненасытным любопытством кружат у границы пространства, освещенного высоким костром, но войти внутрь этого пространства не решаются.

На мгновение Луарсаба отрезвил инстинкт, спугнув эти мысли. Инстинкт первым чувствует опасность и тем самым, словно заботливый отец, оберегает нас от постижения таких вещей, постижение которых нежелательно.

С востока взгромоздившееся на вершину высокой горы солнце стлалось лучами по кронам плодоносных садовых деревьев и, разбиваясь об их ветви и листья, мелкой крошкой осыпалось на траву.

Луарсаб Размадзе погладил рукою ствол сиротливо стоящей на краю лужайки магнолии, с улыбкой взглянул на ее крупные белые цветы и свернул налево по едва различимой в густой траве тропинке, которая теряющейся ниточкой вела наверх, где у Луарсаба было заветное, наиболее любимое местечко в саду.

Само собой разумеется, стоило только Луарсабу как следует постараться, и он легко справился бы с этой дурацкой ревностью, проник бы в ее механизм до самого основания, ясно обозначив ее доподлинные исходные точки, и, наконец, испепелил бы пламенем разума. И все же какая-то непонятная сила вынуждала его отпустить поводья воспалившейся фантазии и со смешанным чувством страха и блаженства погрузиться в боль, мчавшуюся по самой кромке человеческих возможностей.

Отпущенная же на волю фантазия усердно принялась за дело. Ужасные, причиняющие нестерпимую

боль картины непрерывно сменяли друг друга в сознании Луарсаба. Память сохранила не все. Может быть, и вовсе не сохранила бы, не будь у фантазии своих рамок и не возвращайся она слишком часто к одной из этих навязчивых картин.

Вернувшись с работы, он находит на столе письмо. Небольшой лист бумаги, сложенный вчетверо и источающий яд, боль и смерть. Что-то обрывается у Луарсаба в груди, на миг он застывает на месте, затем почему-то бессмысленно оглядывается и наконец решает-ся дрожащей рукою взять письмо.

Текст он всегда продумывал особенно тщательно. Письму следовало быть лаконичным — всего две-три фразы, простые и ясные, как пуля.

Рука бессильно опускалась, письмо незаметно выскальзывало из пальцев и падало на пол. И, подобно тому, как виноград под тяжестью пресса освобождается от своего сока, тело медленно, по капле, освободалось от чего-то очень важного, от чего-то такого, что делает человека человеком, и на месте этого важного воцарялись пустота и страшная, дикая боль. Распавшиеся члены поверженного тела из последних сил отчаянно пытаются восстановить нарушенную связь друг с другом, но их самоотверженное стремление тщетно, ибо пустота воздвигла между ними непреодолимую преграду. Луарсаб безжизненно опускает на стул свое опустошенное тело, но пустота и неутихающая боль вынуждают его тут же вскочить на ноги. И он бы вскочил! И мучительно заметался бы по дому, бесцельно бросаясь то туда, то сюда, как бьется в силке только что пойманная птица, в которую сеть вселяет космическую панику, потому что снаружи еще доносится запах утраченной свободы. Луарсаб пытался думать о другом, но ни в себе, ни вокруг себя не мог найти ничего, что не было бы тоскою, неодолимой, безнадежной тоской пустоты. Горе давило на него, комком застревало в горле. Он напрягал остатки сил, чтобы не выкатились из глаз уже родившиеся в глубине их слезы, и скрежетал зубами...

И все это именно так и происходило. Неуправляемая фантазия работала на редкость четко и достига-

ла таких вершин в изображении, на которых словно стирается грань, отделяющая воображение от действительности. И у Луарсаба, подвергавшего самого себя этой утонченной пытке, и вправду сердце подкатывалось к горлу, и он наяву скрежетал зубами, сдерживая подступавшие к глазам слезы.

Было в этой невыносимой муке и какое-то невыносимое блаженство...

Луарсаб внезапно вновь отвлекся от своих мыслей. Из-под ног прыгнул вспугнутый кузнечик, перемахнул на другую сторону тропинки; там, видимо, счел себя в безопасности, замер и затаился в высокой траве. Луарсаб остановился, подождал, пока кузнечик успокоится, затем тихонько шагнул вперед, соблюдая все меры предосторожности, чтобы еще больше не испугать понапрасну потревоженное насекомое. Ему и в самом деле удалось миновать это место так, что кузнечик ничего не заметил.


Елена, конечно, ничего не видела. Луарсаб же был настороже, он исподволь, соблюдая все меры предосторожности, следил за нею, выискивая улики, которые могли бы подтвердить его подозрения. Несколько раз он, будто бы невзначай, на самом же деле по заранее тщательно отработанному плану, заводил разговор о Петрэ, в надежде, что жена интонацией, взглядом, необычной дрожью какого-нибудь мускула лица выдаст себя.

Позже, когда Петрэ Большой женился (на прекрасной женщине, благородной, отзывчивой, доброй), мучения понемногу стихли и прекратились.

Луарсаб дошел до конца тропинки и оказался в своем любимом месте.

У подножия огромного, разветвленного натрое ореха стоял круглый каменный стол в форме гриба, к которому была приставлена каменная же скамья. Еще выше, у самого плетня, густо росла крапива и прочая зелень. Напротив ореха, с другой стороны стола, высилось стройное, тонкое черешневое дерево с черноватосерой блестящей корой и симметрично устремленными к небу ветками.

Луарсаб присел к столу. Здесь он неизменно испытывал чувство удивительного покоя. Он просиживал здесь часами, размышляя и наблюдая, как пространст-



во полого спускается вниз, к деревне, и дальше, перебравшись на другой берег шумной и холодной горной речки, начинает подниматься по склону вместе с темным, густым лесом. Этот лес здешние жители называют Медвежьим. Оказывается, осенью медведь, одурманенный полевым ароматом, осмеливается даже приходить в деревню, чтобы полакомиться урожаем. Поэтому, начиная с последних дней августа и до окончания уборки урожая, на берегу реки, где начинаются поля, разжигают костры, ставят капканы, ночи напролет сторожат в наскоро сооруженных шалашах. Правда, живого медведя Луарсабу здесь так и не довелось увидеть, но зато он видел множество медвежьих шкур — неопровержимое свидетельство основательности этих мер.

А вот насчет чертей, конечно, слегка преувеличивают.

Луарсаб улыбнулся. Припомнил, с каким увлечением рассказывают деревенские старики (а под их влиянием — малыши тоже) истории про чертей.

Черти в деревню не приходят, но если встретят в лесу одинокого путника, преградят ему путь и скажут своими тонкими чертячьими головами: «Или ты меня вези, или я тебя повезу!» Если согласишься взвалить его на спину, черт превращается в камень и может тебя придавить; если же ты на него усядешься, помчит тебя в свои владения, и никто не знает, что с тобою станет. Могут и тебя превратить в черта, и тогда в один прекрасный день сам предложишь своему же односельчанину: «Или ты меня вези, или я тебя повезу!» Интересно то, что люди, которые с глубокой убежденностью, с каким-то упрямым удовольствием рассказывают об этой странной игре чертей, то ли забывают, то ли сознательно игнорируют одно обстоятельство: в чертовых условиях допущена ошибка, потому что человеку всегда остается третий путь — достаточно только сказать: «Ни я тебя не повезу, ни ты меня не повезешь». В свое время Луарсаба весьма занимал этот вопрос, и однажды, когда представился случай, он даже задал его старику, который считался в деревне крупнейшим знатоком по части чертей. Луарсаб, по обычаю, выслушал и общую версию легенды, и несколько частных случаев,

а затем, как бы между прочим, чтобы рассказчик не заподозрил подвоха, спросил: «А если и сам его не повезешь, и к нему на спину не сядешь?..» При этом разговоре присутствовало множество людей, и каждый по своему воспринял вопрос Луарсаба. Молодежь, и без того скептически относившаяся к сказкам про чертей, засмеялась. Дети раскрыли рты. Старики заерзали, и на их лицах отразился интерес вперемешку со страхом. У «знатока» в лице не дрогнул ни единый мускул. Он медленно повернул голову, сощурил воспаленные глаза и некоторое время пристально глядел на Луарсаба. Затем отвел глаза, насмешливо хихикнул и тоном, отмечающим всякие сомнения, изрек: «А куда ты денешься!»

Спорить было бесполезно. Луарсаб убедился, что ответа на свой вопрос он здесь не добьется.

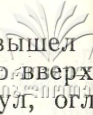
Луарсаб встал, прошел небольшое расстояние, отделявшее его от плетня, и сверху оглядел свой сад. Затем обвёл глазами соседские владения и тихо усмехнулся. Стоит только представить на секунду, что ты не человек, а что-то иное, совершенно отличное от человека, — и забор тут же покажется каким-то нелепым и смешным изобретением. Ни за что не объяснить тогда, для чего нужна эта граница и вообще, как можно поделить на «твое» и «мое» нечто такое, чего нет ни в тебе, ни во мне. Однако это мгновенное отчуждение тут же проходит, и ты вновь делаешься человеком. Ну, а человеку это объяснять не надо. Только человек и знает, что, перешагнув через забор, тем самым совершаешь грех, ибо без спросу оказываешься в месте, которое именуется «чужим». Медведь, к примеру, этого не знает. Медведь убежден, что раз кукуруза поспела, ее можно есть, а посему воспринимает капканы и ружья как необъяснимое и бессмысленное зло.

Луарсаб не спеша побрел вдоль плетня. Тут он услышал шум подъезжающей машины и вспомнил, что нынче утром ему исполнилось шестьдесят лет. В ту же секунду в сознании мелькнул сон, но тотчас же исчез, потому что прямо перед лужайкой затормозила машина.

«Десять уже», — подумал Луарсаб и посмотрел на свои часы. Находившиеся в обморочном состоянии часы на его руке вновь пришли в чувство и поплелись впе-

ред, однако их обреченному энтузиазму недоставало прежней отваги, и поэтому тиканье их звучало неуверенно, и они, выпав из мирового ритма, показывали какое-то несуразное время. Луарсабу стало жаль часов, и он несколько раз потряс левой рукой, чтобы с помощью такого искусственного дыхания восстановить их ослабевший пульс. Впрочем, подводить стрелки не стал, хотя и был совершенно уверен, что сейчас ровно десять часов. Елена сказала, что Лариса приедет в десять. Ларису, разумеется, должен был привезти Алекс-Але. Последний же принадлежал к той малочисленной категории людей, чье существо целиком проникнуто чувством точности и которые опоздание хотя бы на минуту переживают чрезвычайно мучительно.

Лужайку Луарсабу заслоняло раскоряченное инжировое дерево, и он чуть подвинулся в сторону. Теперь хорошо была видна машина. Алекси-Але вылез, открыл заднюю дверь, нагнулся, вытянул руки, которые вместе с его головой исчезли в салоне. Немного погодя голова показалась вновь, и Алекси-Але осторожно попятился, придерживая правым бедром дверцу машины. И наконец появился торт — громадный тортище, один из Ларисиных шедевров. Алекси-Але осторожно держа торт обеими руками, Лариса помогала ему изнутри — Луарсаб заметил ее руки. В конце концов Алекси-Але удалось извлечь торт из машины. В это время во двор вышла Елена, она с улыбкой поздоровалась с Алекси-Але, окинула взглядом торт и, видимо, похвалила его. Алекси-Але понес торт в дом. Он ступал осторожно, огромная и драгоценная ноша мешала ему видеть землю, поэтому прежде, чем сделать новый шаг, он опасливо пробовал ногою почву. Лариса вышла из машины и расцеловалась с Еленой (при этом она слегка оторвала от земли и отогнула назад левую ногу), затем женщины объединенными усилиями вытащили из машины большую, наверное, полную печеного сумку, взяли каждая по ручке и понесли ее к дому. Тем временем, однако, вернулся Алекси-Але, отобрал у женщин сумку и сам отнес ее в дом. Елена с Ларисой остановились на лужайке. Лариса что-то спросила. Елена махнула рукою вверх, и Луарсаб догадался, что Ла-



риса спрашивает о шефе. Алекси-Але вновь вышел из дома. На этот раз уже Лариса показала рукою вверх и что-то сказала Алекси-Але. Алекси-Але кивнул, оглядел машину, обошел ее кругом, заглянул под колеса, после чего вместе с Ларисой приступил к восхождению.

Луарсаб уселся на траву у подножия инжирового дерева и принялся наблюдать за Ларисой и Алекси-Але.

Они его не замечали. Впереди шла Лариса, высокая и такая худая, что ни о каких формах и говорить было нечего. Даже идя в гору, она оставалась прямой, как перпендикуляр. На ней была узкая серая юбка, белая сорочка в желтый горошек и огромные очки. Всею своей внешностью, привычкой ходить, словно проглотив кол, манерами, речью, всем своим существом Лариса неизбежно вызывала в мозгу всякого, кто ее видел, слово «интеллигентка». Луарсаб не помнил случая, чтобы кто-либо, высказывая свое мнение о Ларисе, не воспользовался этим термином. Понятно, что это довольно одностороннее представление об интеллигентности, оно возникло по милости дам, которым сейчас уже под девяносто лет, которые старательно выщипывают свои черные усики и разговаривают друг с другом на смешанном русско-грузинском языке. Алекси-Але, низенький, лысый, пузатый, в выбившейся из брюк белой сорочке, с пузырями на коленях и в исторической древности сандалиях, следовал за Ларисой, время от времени утирая со лба пот. Всю свою жизнь он провел за рулем, и ходить пешком было для него делом непривычным.

Они шли по тропинке и шли, разумеется, поздравлять.

Алекси-Але и в голову бы не пришло тащиться сюда, чтобы поздравить Луарсаба. Он любил поспать и не терял времени на пустяки. Однако Лариса была в его глазах образцом корректного поведения, и ее указания он всегда выполнял беспрекословно. Лариса знала не только как вести себя ей самой, но и как должны вести себя все остальные, и повсюду, куда простиралась ее рука, в мировом хаосе воцарялся надлежащий порядок.

Лариса непременно должна была разыскать и поздравить Луарсаба. Когда давеча она расцеловалась с

Еленой, она, без сомнения, поздравила ее с днем рождения мужа. Лариса состояла из мелочей, как и все те из нас, кто признает необходимость условностей и приравнивает неписанные правила человеческого общения к законам природы.

Алекси-Але неловко и неуклюже пожмет Луарсабу руку и пробурчит поздравление так, что ни слова не разберешь, однако обратится на «ты». Лариса изящным движением поцелует в щеку (приподняв и слегка отгнув назад левую ногу), зато называть будет на «вы» и ни на секунду не изменит тону изысканной любезности. И все-таки в поведении обоих будет какая-то особая простота, глубокая и естественная близость домоладцев, которая в первом случае выразится в обращении на «ты», а во втором — в поцелуе. Такие отношения между начальником и подчиненными — явление, очевидно, чисто грузинское. Наша иерархия — это не состоящая из четких ступеней лестница, а единый, сплошной склон, на котором не существует границ между разными уровнями.

Лариса еще издали увидела, что у его любимого стола Луарсаба нет и сообщила об этом идущему следом Алекси-Але. И Алекси-Але, у которого было до комичного преувеличенное представление о культурных и образованных людях, почему, общаясь с ними, он постоянно чувствовал себя не в своей тарелке, издал такой возглас огорчения и принял такой озабоченный вид, словно потерял последнюю надежду разыскать Луарсаба.

Луарсаб улыбнулся. Лариса же лишь ненадолго остановила холодный взгляд гигантских очков на встревоженной физиономии Алекси-Але, после чего молча отвернулась и пошла дальше. Алекси-Але покорно заморгал в ответ на резкое и пронзительное осуждение очков, чем как бы подтвердил свое неосознанное прегрешение.

У каменного стола Лариса остановилась, огляделась и негромко позвала:

— Батоно Луарсаб!

— Сюда, захватчики, сюда! — откликнулся, вставая, Луарсаб.

— Ух! Вон он где, оказывается! — обрадовался Алекси-Але.

Пожав Луарсабу руку, он, как и ожидалось, про- бурчал что-то неразборчивое.

Лариса поцеловала юбиляра в щеку (слегка при- подняв и отогнув при этом левую ногу) и произнесла:

— Поздравляю вас с днем рождения.

На фоне четкого Ларисиногo произношения Алекси- Але, видимо, почувствовал себя несколько унижен- ным. Поэтому он внимательно оглядел Луарсаба и ска- зал:

— А ведь и не скажешь по тебе!

Алекси-Але был здесь и вчера, привозил вино, но, вероятно, считал, что на внешности шефа возраст дол- жен был сказаться именно сегодня, потому что только сегодня ему исполнилось шестьдесят, тогда как вчера было все еще пятьдесят девять.

Луарсаб засмеялся и легонько похлопал Алекси-Але по плечу:

— Ничего, Алекси, вечером уже скажешь. Что слыш- но в городе, Лариса?

— Ничего. Жарко.

— Зато здесь как хорошо, прохладно! — отозвался Алекси-Але. — Просто благодать!

— Моих не видели? — поинтересовался Луарсаб.

— Позвонил Цотнэ, — ответила Лариса, — сказал, что они ждут Мириана и к двум часам приедут все вместе. — И прибавила: — Вы не спуститесь вниз?

— Это слишком вольная редакция, Лариса. Ты дол- жна была спросить так: «Не угодно ли вам спустить- ся вниз, принц?»

Лариса приподняла левую бровь и, прямая до пре- дела, умудрилась каким-то образом еще выпрямиться.

— Почему?

Лариса всегда была горделиво-серьезной, однако, столкнувшись где-нибудь с шутливой интонацией, се- рьезность ее достигала такой высоты, что излучалась стеклами очков.

— Потому что тогда я ответил бы: «Куда? В мо- гилу?»

Алекси-Але недовольно поморщился:

— Тьфу, тьфу, тьфу! Не дай бог! — однако на по- следних словах его одолела зевота.

Лариса спокойно и с достоинством выслушала реплику Луарсаба и с тем же спокойствием и достоинством сказала:

— Мы привезли вам почту.

— А-а! Я-то думал, меня приглашают на торт.

Алекси-Але оживился:

— Торт — это да! Торт прямо как... — но ничего подходящего для сравнения не нашел и снова зевнул.

— Эх, Алекси, если бы человек следовал в жизни своему призванию, Лариса была бы сейчас президентом Ассоциации кулинаров-кондитеров, — Лариса подняла бровь, а Луарсаб с улыбкой добавил: — А в свободное время руководила бы клубом женщин, ненавидящих юмор и мужчин. Ладно, ладно, Лариса, опусти бровь и пойдем туда, где нас ожидает почта.

Когда они спустились, Лариса открыла дверь машины и достала небольшой портфель.

Алекси-Але зевнул и сказал:

— А знаешь, я таки устал! Пойду, дам глазам немного отдохнуть.

Это была обычная вступительная фраза Алекси-Але, и Луарсаб немедленно дал свое благословение:

— Конечно, Алекси, дай им отдохнуть!

Алекси-Але направился в маленькую комнатку рядом с кухней, помещавшуюся в нижнем этаже. Там специально для него стояла кушетка, на которой он обычно «давал глазам отдохнуть» и с которой его всякий раз поднимало совершенно не известное другим, но хорошо знакомое ему чутье, будившее его именно в тот момент, когда он оказывался нужен.

Лариса открыла портфель и протянула Луарсабу большой, пухлый конверт.

— Пожалуйста, вот почта. — Затем она обернулась к Елене, показавшейся на пороге кухни: — Сейчас я переоденусь и помогу вам.

— Сварить вам кофе? — спросила Елена.

— Нет, благодарю. Я позавтракала дома.

Лариса со своим портфелем поднялась на второй этаж.

— Я тебе зачем-нибудь нужен? — спросил Елену Луарсаб.

— Нет. Ты юбиляр, — с улыбкой ответила Елена. И прибавила: — Да и Ларисе делать нечего, так, ерунда... Пусть развлечется.

— Ладно. Тогда я прочитаю поздравительные телеграммы, и сердце мое преисполнится гордости.

Елена улыбнулась, кивнула и вернулась в кухню.

Луарсаб сел на скамью под магнолией, распечатал большой конверт и вынул из него телеграммы и письма. Письма он отложил в сторонку отдельной пачкой, держа в руке только телеграммы, которые и принялся читать.

Только он закончил чтение телеграмм, как на верхней ступеньке лестницы появилась Лариса, и Луарсаб удивленно присвистнул. На сей раз Лариса была в брюках, и, хотя шла она по-прежнему прямо, а стекла ее очков по-прежнему сверкали горделивой серьезностью, брюки вносили в эту серьезность какую-то комичную несурязицу.

— Лариса!

— Да?

— На что это похоже, Лариса?!

Лариса приблизилась.

— В чем дело?

— По-моему, эти телеграммы списаны одна с другой.

Лариса оторопела.

— То есть как...

— Посмотри сама, если не веришь! — Луарсаб протянул ей телеграммы и, пока Лариса просматривала их, добавил: — Смеются они надо мной, что ли?

Лариса пожала плечами и вернула ему телеграммы.

— Поздравительные телеграммы всегда трафаретны.

Луарсаб устался в стекла Ларисиных очков. Лариса и глазом не моргнула.

— Так ты считаешь эту трафаретность свойством самих телеграмм?

— Разумеется.

— Дай бог тебе здоровья. А я было испугался, что она свойственна мне. Тебе надо чаще носить брюки. Брюки пробивают брешь в твоей неприступной серьезности, и стосковавшимся по семейному теплу солидным

женихам это придаст смелости и они рискнут сделать тебе предложение.

Лариса гордо повернулась и направилась в кухню.

Луарсаб разложил телеграммы на скамейке, взялся за письма и бегом просмотрел их. Наконец в руки ему попался нераспечатанный конверт. На нем под именем и фамилией Луарсаба в скобках было написано: «В собственные руки». Адреса отправителя не было, была только его подпись, начертанная незнакомой и твердой рукою: «А. Буадзе».

«А. Буадзе, А. Буадзе, А. Буадзе... — размышлял Луарсаб. — Кто такой А. Буадзе?»

Мозг с напряжением ворошил память, но никакого А. Буадзе там не находил.

В Луарсабе пробудился какой-то странный и непонятный интерес. Он поспешно сгреб остальные письма и телеграммы и как попало запихнул их в большой конверт. Смутно сознавая, что это делается из детского желания остаться наедине с А. Буадзе, он тем не менее не понимал цели своих действий. Отыскав в траве тоненький прутик, он взял конверт в левую руку и принялся прутиком осторожно вскрывать его. Под конец он все-таки слегка повредил конверт, но в основном провел операцию успешно. Луарсаб вынул письмо, и, прежде чем успел его развернуть, в сознании бесшумно и стремительно пробежал утренний сон.

«Милостивый государь! Осмеливаюсь написать Вам еще одно письмо. Не знаю, понравится оно Вам или нет. Ежели не понравится, то не прогневайтесь, слова-то у меня не настоящие...»

Луарсаб поднял голову. В окрестностях появилось нечто странное и неприятное. Он закрыл глаза и замер. Потом, поймав слоняющуюся в сознании без присмотра мысль — «письмо-то чужое», — свободно перевел дух и внезапно с удивлением и непонятным ужасом понял, что весь этот церемониал — тщательная изоляция остальных писем и телеграмм, поиски прутика и необычно осторожное вскрытие конверта, неосознанное ожидание чего-то, — все это был просто страх, смутный, неясный страх. Такой страх может овладеть ребенком, который в летний зной, сидя в траве у обо-

чины дороги, увлеченно играет с жуками и вдруг, подняв голову, видит перед собою незнакомца на белом коне.

«Письмо-то чужое». Эта мысль развеяла, словно туман, неясный страх. Немного погодя Луарсаб решился даже открыть глаза. Окрестности больше не казались странными. Пространство вернуло себе привычный облик.

«Меня мучает то самое непонятное подозрение, которое преследует меня с самого пробуждения».

Эта мысль еще больше успокоила его, и он вернулся к письму.

«Милостивый государь! Что, если за вражду, клевету, трусость, лицемерие, злословие, ненависть, угодничество, сотворение себе кумиров, унижения перед временщиками, самодовольство, самоуверенность, подчинение стадному чувству, назойливость, насмешки за глаза, радость чужому горю, сокрытие собственного мнения, сплетни, словоблудие, подражательство, сквернословие, похоть, двуличие, лихоимство, обжорство, очковтирательство, воздвижение собственного памятника на обломках чужого, оскорбления, алчность, угнетение слабых, злобу, лицепрятие, ложь, эгоизм, зависть, беспечность, любовь к тридцати сребреникам, пренебрежение к десяти заповедям, заботу лишь о собственном ребенке, бахвальство, нытье и жалобы, жизнь за чужой счет, лень, поверхностность, извращенность, низкоклонство, равнодушие, чванство, недоверие, стяжательство, избрание легких путей и множество других грехов, свершаемых нами в этом мире, — что, если в мире ином за все это с нас спросится? Что мы тогда станем делать?»

«Да, многовато, — подумал Луарсаб. Потом, почему-то сделав паузу, добавил: — Но при чем здесь я?»

Он еще раз взглянул на конверт. Под его адресом было написано: «Проф. Луарсабу Размадзе (в собственные руки)», а чуть пониже — «А. Буадзе».

Луарсаб несколько раз повторил про себя: «А. Буадзе, А. Буадзе, А. Буадзе». Потом громко и с внезапным раздражением позвал:

— Лариса!

Из кухни сначала выглянула Елена, а спустя минуту над ее головою сверкнули Ларисины очки. — Что случилось, Луарсаб? — спросила Елена. — Идите-ка сюда! — и, когда женщины подошли, он резко спросил, глядя прямо в глаза Ларисе: — Кто такой, Лариса, А. Буадзе?

— А. Буадзе, А. Буадзе, А. Буадзе... — задумчиво произнесла Лариса, потом слегка приподняла бровь и таким тоном, словно не смогла отгадать загадку, вернула вопрос Луарсабу: — А кто это?

— Она меня спрашивает! — воззвал к Елене Луарсаб и тут же вновь обернулся к Ларисе: — А. Буадзе — это моралист, который насмехается надо мною, выдающимся ученым и мыслителем, человеком, над которым редко насмехаются даже студенты! — Луарсаб ощутил на себе спокойный и пристальный взгляд Елены и понял, что взгляд этот, пусть и неосознанно, все же выбивает его из совершенно необходимой колеи. Поэтому он поспешно прибавил: — Лариса, какие имена ты знаешь на «А»?

Лариса сверхъестественно выпрямилась и с гордым достоинством начала перечислять:

— Афина, Афродита, Артемида...

— Да оставь этих дурацких богинь! — прервал ее Луарсаб. — Боги таких писем не пишут! Давай человеческие имена. И притом мужские.

И тут же подумал: «А почему, собственно, мужские?»

Лариса с величественной покорностью приступила к делу:

— Анаксагор, Агамемнон, Алекси-Але...

— Довольно, — развел руками Луарсаб. — Так мы до истины не доберемся.

— Можно мне прочесть? — спросила Елена.

И спокойный ее голос достиг того, чего минуту назад не смог достичь ее спокойный взгляд. Луарсаб понял, что ломает какую-то нелепую комедию. Эта комедия служила своеобразным щитом, которым он защищался от чуждой и непонятной тревоги, назойливой мухой вертевшейся вокруг него все это время и стремившейся проникнуть в мозг.

— Прочти! — Луарсаб протянул ей письмо и, пока

Елена читала его, продолжал некоторое время по инерции ломать комедию: — Как видно, А. Буадзе и впрямь считает, что рану можно вылечить солью.

И внезапно умолк.

Назойливая муха с жужжанием проникла в мозг.

Ничего определенного он не ощутил, просто вдруг испортилось настроение. Показалось, будто что-то выпало из тела с неприятным дребезжанием.

Впрочем, когда Елена кончила читать и с улыбкой вернула ему письмо, комедия еще разок вильнула хвостом:

— Может быть, разбудим Алекси-Але и устроим публичное обсуждение?

— Какое-то забавное недоразумение, — сказала Елена. — Не стоит из-за такой ерунды будить Алекси-Але.

— Забавное? — Луарсаб поглядел на спокойное, ясное лицо Елены, но комедия уже была окончена и потому он мог лишь про себя подумать: «Ежели забавное, что ж мы не забавляемся?» После чего обернулся к Ларисе: — И ты того же мнения, Лариса?

Стекла Ларисиных очков заискрились любопытством.

— Я не читала.

— Прочти.

Лариса прочла и вынесла заключение:

— Судя по всему, это письмо адресовано не вам.

— А кому оно адресовано, судя по всему, Лариса?

— Никому. Просто...

Луарсаб внезапно рассмеялся.

— Ты молодчина, Лариса. Чужало мое сердце, что однажды ты скажешь нечто подобное. И вообще, будьте начеку. Сегодня особенный день. Мне кажется, мы почти поймали истину за хвост и, если не оплошаем, она от нас не ускользнет. Лично я уже чувствую запах.

— Я тоже, — неожиданно отозвалась Лариса, прихихиваясь, словно ищейка. — Пахнет горелым.

— Вода выкипела! — забеспокоилась Елена.

Со словами «Я присмотрю!» Лариса крупными шагами понеслась в кухню.

— Чуть было не сгорела наша истина! — покачал головою Луарсаб.

Елена повернулась к нему и долго, спокойно вглядывалась в его лицо. Потом улыбнулась и сказала:

— Знаешь, я заметила, что каждый раз в свой день рождения ты нарочно стараешься испортить себе настроение.

«И, похоже, на этот раз я своего добился», — подумал Луарсаб.

Елена повернулась и не спеша направилась в кухню. Однако, сделав несколько шагов, оглянулась.

— Скоро дети приедут.

Плохое настроение, разлившееся по всему телу, в мгновение ока сконцентрировалось в одной точке. Луарсаб ощутил жгучий укол тоски и вдруг с ужасом понял, что Елена допустила ошибку.

Видимо, сегодня и в самом деле необычное девятнадцатое августа. Еще не было случая, чтобы в минуту опасности Елене не хватило собственной внутренней гармонии и она принялась искать спасения вовне. А вот сегодня не хватило. Сегодня явно не хватило. Она сама это поняла и призвала на помощь детей. Именно в этом и заключалась ошибка. То есть не в том, что она вспомнила о детях. Дети могут стать поддержкой в трудную минуту, а могут и не стать, это не так уж существенно. Главное то, что Елене потребовалась помощь, и она дала почувствовать это мужу. За многие годы их совместной жизни Луарсаб постепенно, незаметно привык к прочной внутренней гармонии Елены и превратил ее в опору своего существования. И вдруг в этой устойчивой опоре образовалась трещина, подобно тому, как образуется трещина в психике ребенка, когда прямо у него на глазах избивают его отца.

Итак, сегодняшнее девятнадцатое августа — особенное. Сегодня что-то должно произойти. Или уже произошло.

Собственно говоря, чувство какого-то непонятного и неприятного ожидания сопровождало его с самого момента пробуждения, однако он пытался скрыть это от самого себя. Разумеется, это были безрассудные попытки, напоминавшие смешное поведение страуса, который прячет голову в песок.

Теперь, когда Елена неволью скрепила это смутное ожидание своей печатью, необходимо во всем разобраться и рассеять туман неопределенности.

Луарсаб спрятал конверт с письмом А. Буадзе в нагрудный карман, всю прочую корреспонденцию в большом конверте оставил на скамейке и медленно направился к калитке.

Он пересек двор и зашагал по пыльному шоссе. Внизу, по левую руку, виднелись кукурузные поля. По обе стороны дороги теснились огороженные металлом и деревом дачи. У подножия оград вдоль дороги почетным караулом торчали ромашки, которые, невзирая на пыль, выглядели щегольски.

Спустившись вниз и миновав первый ряд дач, он свернул на узкую тропинку. Тропинка вилась между грабами и кленами. Сюда не добирались ни знойные солнечные лучи, ни дорожная пыль. Луарсаб любил гулять по этой тихой тропинке. Грабы и клены сопровождали его недолго. Дальше росли орехи, дикая груша и каштаны с их прекрасной тенью, окруженные высокой травой и тишиной.

Луарсаб шел медленно, жадно вдыхая свежий прозрачный воздух, с какой-то отчетливой неопределенностью ощущая, что нынешнее девятнадцатое августа не похоже на все предыдущие девятнадцатые августа, и тревога с покоем сочетались в его душе в некой странной, необъяснимой гармонии.

Елена сказала, что каждый раз в свой день рождения он старается каким-нибудь образом испортить себе настроение, и Луарсаб не стал ей возражать. Впрочем, это молчаливое согласие было скорее доверием, нежели верой. Луарсаб поверил опыту, вообще же слова жены его удивили, и даже очень удивили. Никогда прежде, ни в день своего рождения, ни в остальные дни года, он не замечал за собою ничего такого, что могло бы объяснить непоколебимую уверенность, с какою Елена преподнесла ему эту новость. Когда приближалось девятнадцатое августа, Луарсаб — что правда, то правда, — чаще задумывался о своем дне рождения; более того, думал о нем с пристрастием. Иногда он воображал, что в поздравлениях ему говорят то, что он и сам о себе думает, или что его вспоминают люди, которые, исходя из всех объективных законов реальности, никак не могли о нем вспомнить. Такая безобидная слабость у него действительно была, он и не думал утаивать ее от самого себя. Что же каса-

ется сказанного Еленой, ничего подобного он раньше не замечал. И сейчас он тщетно пытался понять, зачем ему было стремиться к тому, чтобы испортить себе настроение в собственный день рождения. Быть может, Елена ошиблась, как она ошиблась минутою позже, вспомнив о детях. Впрочем, нет. Упомянув о детях, Елена не ошиблась, а допустила ошибку. А это уже совсем другое, поскольку ошибку она допустила именно потому, что не ошиблась.

Ну, а коли так, надо во всем этом разобраться и ликвидировать беспорядок прежде, чем он успеет перерасти в хаос. Если Луарсаб действительно стремится каждый раз отравить себе день рождения, тому должна быть своя причина, и причина эта должна быть установлена.

Непримиримый рационализм категорически требовал от Луарсаба установления причин. Установление причин было острой потребностью, привычкой, главным свойством его натуры. С детства прочно укоренившаяся в сознании древняя истина, что следствие опирается на причину, а причина порождает следствие, определило его мировоззрение. Мир целиком умещался в рамках этой простой системы, за пределами которой попросту ничего не существовало. Всякая «запредельность» была, по мнению Луарсаба, чудовищным заблуждением человеческого разума, которое мешало развитию человечества, а временами надолго тормозило его продвижение вперед. Поэтому все сверхъестественное вызывало у него глубокий внутренний протест и раздражало так, как и должно самоуверенное, косное невежество раздражать вечно сомневающийся, ищущий разум.

В мозгу мелькнуло какое-то воспоминание. Луарсаб остановился, закрыл глаза и прислушался к самому себе. Вскоре он понял, что это сон на мгновение всплыл в памяти. «Как во сне возникла церковь?» — удивился Луарсаб.

Он с утра пытался восстановить свой странный сон, но это ему никак не удавалось. Сон скрывался за черной завесой и, словно играя с ним в прятки, время от времени высывал из своего укрытия какой-нибудь

кусочек. Сначала за черной завесой появился Президент Академии, непохожий на самого себя, теперь вот еще и церковь. Луарсабу было совершенно непонятно, что могло связывать Президента с церковью.

Покрытые колючками каштаны устилали тропинку, словно маленькие ежики. Луарсаб взглянул на дерево; каштан был высокий, стройный, ветвистый. Ветер оборвал множество плодов, но и на дереве их осталось немало. Пока Луарсаб разглядывал дерево, еще один каштан сорвался вниз и, с шуршанием скользя меж листьев, упал к его ногам. Луарсаб нагнулся, осторожно, чтобы не уколоться о шипы, поднял его, и в это время из кармана сорочки выпало письмо. Луарсаб бросил каштан и быстро выпрямился, инстинктивно оглянувшись по сторонам. Затем снова наклонился, подобрал письмо, сошел с тропинки и уселся на толстые корни каштана. Развернув письмо, он принялся его перечитывать, а дойдя до конца, поднял голову, устремил взор в пространство и долго сидел, застыв неподвижно.

Почему же все-таки Елена думает, будто Луарсаб сам стремится испортить себе настроение? А может, его толкают на это обстоятельства? Сегодня с самого утра возникали какие-то мелкие неприятности, которые успешно следовали друг за другом. А под конец всему подвел какой-то странный итог А. Буадзе.

Сложив письмо, он сунул его в карман.

Затем осторожно поднял каштан и покатал его по раскрытой ладони. Каштан легонько касался кожи своими шипами. Но не кололся. Тогда Луарсаб прокатил его по тыльной стороне руки. Здесь кожа была нежнее и сразу ощущала остроту колючек. Луарсабу вспомнилось слово «относительность». Он снова положил каштан на ладонь и принялся его разглядывать.

Ежели биология правильно объясняет причины явлений, то зачем понадобилось каштану помещать свой плод в шкурку, защищенную этими иглами? И почему такая мера не понадобилась, например, ореху?

Бывает, что человек с какою-то злой и беспощадной ясностью видит вокруг себя столько неизвестного и непонятного, и тогда горячее чувство космического бессилия болезненной волною окатывает тело...

Может, никакого А. Буадзе не существует, а просто

5920
302.011033

кто-нибудь пошутил? В молодые годы Луарсаб и сам не раз посылал друзьям ко дню рождения шуточные поздравления и подарки. Если это и в самом деле чья-то шутка, то шутка довольно злобная. Кто бы мог это сделать? Петрэ Большой? Нет. Петрэ Малый? Тоже нет. Какой-нибудь другой Петрэ? Но какой?

Удивительно было то, что Елене не хватило собственных сил, что ей понадобился вспомогательный отряд. Вспомогательный отряд скоро примчится сюда на двух машинах, только помочь никому не сможет, потому что у каждого свои правила игры. Покуда Луарсаб представлял собою нечто вроде несгораемого шкафа; в котором дети до поры, до времени хранили свой разум, все горести и радости были общими, родители и дети были частями единого тела, и призывать на помощь вспомогательный отряд не было никакой нужды. Но потом дети отперли шкаф и забрали свое имущество.

Луарсаб напряг волю и с трудом отвлекся от этих мыслей.

Птицы переговаривались между собою музыкальными фразами, и весь лес был полон незнакомой мелодии. Спокойно дышали высокие деревья. Следуя ритму ветерка, легонько колыхались их листья. Природа наслаждалась собственной жизнью. Лес самозабвенно пел, и его сладкая, нежная песня, похожая на далекие воспоминания детства, словно оттеняла какую-то необычайную тишину, первобытную, загадочную, позабытую.

Луарсаб чувствовал, как пустота в его теле понемногу наполняется блаженной прохладой этого покоя, и думал: «Мы нарочно затемнили и усложнили что-то очень простое и светлое».

Шестидесятилетию предшествовало особенное ожидание. Обычно Луарсаб начинал думать о своем дне рождения примерно за неделю, однако мысль о шестидесятилетию впервые появилась у него года за три или даже четыре. Никакой четкой цели он себе при этом не ставил. Просто в мозг закралась мысль: «Шестьдесят лет». Правда, мысль эта тут же была вытеснена другими заботами, занимавшими сознание, но время от

времени она все же находила удобный случай пробраться в мозг и шепнуть: «Шестьдесят лет». В первое время, возможно, именно потому, что такое напоминание не имело никакого смысла, Луарсаб считал эту мысль вероятной предвестницей того, что до шестидесятилетия ему не дожить. Понятно, что подобное предположение не имело под собою никакой почвы. Это он вскоре понял и сам, подумав про себя: «Нет. До шестидесяти лет я доживу, но...» За этим «но» не было ничего, кроме смутной вереницы многоточий, которые с течением времени превратились в какое-то необъяснимое ожидание. Поначалу он пытался не обращать внимания на своеволие этой мысли, но потом, когда необъяснимость ожидания стала все больше и больше его тревожить, он, по обыкновению, принялся искать причины. Формальный ответ он отыскал быстро: шестидесятилетие — это рубеж, которым завершается важный отрезок в жизни человека. А человеку необходимо время от времени подвести итог пройденному пути и, по возможности, определить свое место в мире. Ответ казался правильным; по крайней мере, у Луарсаба на сей счет не было никаких сомнений и удивляло его лишь то, что ожидание порою приобретало неприятный оттенок, а это было непонятно, поскольку Луарсаб считал, что все, чего можно потребовать от одного человека, он в своей жизни совершил.

Он вдруг замер и уронил каштан на землю.

На миг все его существо молнией озарило совершенно отчетливое сознание: все, что было, было ошибкой, ибо человек не в состоянии быть судьей самому себе. Потом молния с молниеносной же быстротой погасла. Впрочем, мгновенное озарение все же не прошло бесследно.

Смелое заключение, будто все, что положено сделать одному человеку, сделано, до сих пор, оказывается, существовало лишь как туманное ощущение, сознательно избегавшее проверки рассудком; теперь же, когда мгновенное озарение извлекло его из потемок сознания, оно вдруг разом уподобилось бессильной лжи, трусливой шавке, которая, надеясь на запертую калитку, свирепо лает из-за забора на мирно шествующую своей дорогою овчарку, однако стоит овчарке остановиться и просунуть голову в калитку, как шавка тот-

час же, поджав хвост, удирает, ища, куда бы спрятаться.

Огромная овчарка просунула большую любопытную голову в калитку Луарсаба Размадзе, и бесхвостая ложь, призывавшая для самооправдания таинственные силы, в мгновение ока скрылась в недоступных сознанию тайниках его существа.

Что значит «все, чего можно потребовать от одного человека»?

Ничего, кроме того, что человек привык мыслить штампами. Мы сами, чтобы облегчить себе задачу, создаем эти штампы, а потом начинаем относиться к ним с таким благоговением, словно это богом данные скрижали. Что можно потребовать от человека? И кто будет требовать? Человек действует в тех пределах, каких достигает его совесть. Ну, а совесть каждого человека имеет свои пределы. Наверно, потому он так и сказал...

Воздух словно застрял в брюшной полости. Сердце напряженно пыталось вытолкнуть его наверх, но ничего не получилось, и оно с глухой болью прекратило свои попытки. Тогда Луарсаб привалился к толстому стволу каштана и расслабил все тело, стремясь дать сердцу возможность передохнуть. Немного погодя он решился на новую попытку. Сердце напряглось, напряглось, напряглось и в последний миг, уже собравшись было вновь отказаться от непосильной задачи, сумело отворить какое-то забитое отверстие, кислород хлынул вверх, и наступило облегчение.

Наверное, потому и сказал тесть Калистратэ, что, будь у него Луарсабов талант да собственная совесть, он бы постригся в монахи.

Сердце вновь испытало затруднение, но на сей раз сравнительно легко преодолело препятствие.

Какой талант нужен для того, чтобы постричься в монахи! Евангелие, что ли, должен был переводить святой Калистратэ или, может, объяснять тайну Троицы?

Лес внезапно притих. Смолк птичий щебет, листья перестали шелестеть. Природа замерла, прислушиваясь к чему-то. Луарсаб Размадзе на мгновение увидел

в недрах собственного существа материализованные талант и совесть, которые не обладали ни формой, ни плотностью, однако по каким-то непостижимым и неуловимым признакам являлись, тем не менее, осязаемыми образами. И самым поразительным было то, что они были прочно и неразрывно связаны между собою, опирались на взаимное существование и вытекали друг из друга подобно убийце и убитому.

«Быть может, так оно и есть, — подумал Луарсаб позже, когда замершее на миг время двинулось вперед и лес вновь наполнился молитвенным песнопением. — Быть может, совесть и талант действительно неразрывно связаны между собою, и в этой их связи заключена сердцевина какой-нибудь необычайно важной идеи».

У Луарсаба было такое чувство, словно нечто очень значительное находится совсем близко, а он не может коснуться его рукою, ибо какие-то тончайшие нити препятствуют ему.

«Если бы я сидел сейчас там, у себя во дворе, наверху, у каменного стола, и передо мною расстилался огромный простор, и во дворе не было бы ни души, и во всей деревне не было бы ни души. Кто знает, быть может, время избрало бы иные мерки и поставило бы такую точку, что эти ужасно растянутые шестьдесят лет, эта мышьяная возня...»

— Здравствуй, Луарсаб-батона!

Маленький мальчик правой рукою потянул ярмо назад. Быки остановились, приподняли головы и фыркнули. В левой руке мальчик держал прут.

Один конец толстой веревки был привязан к ярму, другой петлею захватывал глубокую поперечную зарубку на здоровенном бревне. От того, что бревно ташили по земле, с него местами облезла кора.

Мальчик и мужчина были до смешного похожи друг на друга. Они и одеты были одинаково, и шапки на них были одинаковые. Единственная разница состояла в том, что мужчина глядел на Луарсаба с добродушной улыбкой, а мальчик хранил серьезное и деловитое выражение лица.

Луарсаб вышел из задумчивости.

— О! Приветствую тебя, Иакинте! Тебя и твоего отпрыска! — Луарсаб поглядел на «отпрыска», кото-

рый еще больше насупился, чтобы у чужого человека не сложилось превратное впечатление о его возрасте.

— Это ведь твой парень?

— Мой, — тепло улыбаясь, подтвердил Иакинтэ.

— Можно было и не спрашивать. Похож на тебя, как одна половинка яблока на другую. Смотришь на него — и он на глазах превращается в настоящего Иакинтэ.

Мальчик невольно прыснул и тут же подавил неподобающий смешок, но темные тучи на его лице рассеялись. Подавляемый смех распирает его изнутри, надувая щеки. Поэтому, чтобы не уронить своего достоинства, мальчик принялся глядеть в сторону.

Луарсаб подошел поближе и протянул ему руку.

— Здравствуй!

— Поздоровайся с человеком! — с улыбкой велел отец.

Мальчик бросил косой взгляд на Луарсаба и снова поглядел в сторону. Пожав протянутую руку, он сказал сердитым голосом:

— Здравствуй и ты.

— Как тебя зовут?

На вопрос об имени мальчик снова фыркнул, но и на этот раз вовремя сдержался. Зато голос его прозвучал еще более сурово:

— Коста.

— Ну, братец мой, ты не Коста, а вполне готовый Константин. — Затем Луарсаб обратился к мужчине:

— Настоящий тигренок. Хорошим парнем вырастет. А рано, однако, ты его приучаешь к работе.

— Ничего, пускай привыкает. Разве ходить на заре в лес не лучше, чем валяться в постели?

— В такую-то рань и пошли?

— Да еще не рассвело, а мы уже в лесу были.

— Вы здорово рисковали! — Луарсаб поглядел на мальчика. — Не боялись, что черт преградит дорогу и скажет: «Или ты меня вези, или я тебя!»

Мальчик попытался сделать насмешливое лицо, чтобы скрыть жгучее любопытство, засветившееся в глазах.

Мужчина добродушно и печально улыбнулся и чуть понизил голос:

— Ушел бедный Алистрахо.

Луарсаб замер. И, хотя сразу понял смысл сказанного, все же машинально переспросил:

— Куда ушел? — и тут же поправился. — Что ты говоришь! Когда?

— Нынче хоронят. Если пройдешь подальше, услышишь.

— Что услышу?

— Как могилу ему копают... — мужчина все так же добродушно и печально улыбался. — Уладил наш Алистрахо свои земные дела и пустился в путь.

— Прожил-то он немало.

— Да уж за девяносто перевалило.

— Успокой, господи, его душу.

— Аминь.

— Вот и остались черти без присмотра.

Мальчик улыбнулся, и мужчина тоже.

— Чертям что. Другого найдут.

— Хороший был человек. Ну, будь здоров, Иакинтэ.

— Хороший, что и говорить. Всего тебе доброго, батоно.

— До свидания, Константин, — протянул руку Луарсаб.

Мальчик пожал руку и потянул за веревку. Быки пригнули головы и с достоинством двинулись.

Луарсаб проводил их взглядом.

Бревно медленно ползло по тропинке. Время от времени оно кренилось в сторону, но веревка не пускала, и оно вновь выравнивалось. Быки, примирившись со своей судьбою, не спеша брели вперед.

Алистрахо, большой знаток по части чертей, завершил свои земные дела (уладил, как сказал Иакинтэ) и отправился в путь.

Луарсаб ощупал нагрудный карман и, убедившись, что письмо А. Буадзе по-прежнему там, пошел по тропинке.

На тропинке был виден след бревна. Каштаны и липы громко шелестели. Пели птицы.

Пройдя немного вперед, он и в самом деле услышал стук лопаты и вскоре оказался на кладбище.

Это был сельский погост, неогороженный и неужо-
женный.

Могильщики трудились на самом солнцепеке и текали потом. Когда Луарсаб подошел, они прервали работу и утерли потные лбы рукавами.

Луарсаб негромко, учитывая обстоятельства, поздоровался.

— Здравствуй, батоно! — в один голос отозвались на приветствие могильщики.

Один был круглолицый, коренастый, сероглазый; другой — сухопарый, с морщинистым лбом, бородатый. Под закатанными рукавами виднелись вздувшиеся от работы вены.

Ни один из них не был профессиональным могильщиком, оба привыкли просто возделывать землю, как и все их родственники и соседи. Луарсаб был знаком с обоими. Помнил даже их имена: одного звали Сардионом, другого — Василием. Впрочем, эти сведения оказались бесполезными, так как он не мог вспомнить, кого из них зовут Сардионом, а кого — Василием.

Поздоровавшись, они сделали шаг назад, оперлись на лопаты и замерли, устремив взоры в пространство; это означало, что первого слова они ожидают от Луарсаба.

Луарсаб сказал:

— Скончался бедный Алистрахо?

— Дай бог и тебе, батоно, и нам дожить до его лет, — поспешно ответил бородатый.

— Я давеча встретил Иакинте, он мне и сказал, иначе мог и вовсе не узнать.

— Они ведь далеко. Не услышишь. Да и не было у них большого плача и причитаний, — на этот раз ответил сероглазый.

— И правильно, — сказал бородатый. — Чего уж тут плакать, когда человек в таком возрасте умирает. Могут даже засмеять потом.

— А вот ежели меня спросить, — сероглазый устремил в небо свои серые глаза, — громкие стоны да причитания ни старику не нужны, ни молодому.

— Ох! Почему это, интересно знать? — бородатый еще больше наморщил свой морщинистый лоб.

— Откуда нам знать, куда он попадет? Может, в такое место, что лучшего и не пожелаешь!

— Так ведь помер же! Куда ни попадет, а оплакать все-таки надо. Кто-нибудь из домашних на два дня уезжает — и то чуть не плачешь, а тут... Может, я не прав, вот ученый человек, пусть он скажет... — бородатый повернулся к Луарсабу.

Сероглазый затаил дыхание.

— Право, не знаю... — сказал Луарсаб. — Кому как плачется, так, наверное, и нужно плакать. Человек ведь о себе плачет, а не о покойнике.

— Вот она, правда-то! — сразу и без колебаний согласился бородатый.

— Да, да. Что верно, то верно, — радостно подтвердил и сероглазый.

И Луарсаб сообразил, что любые его слова встретили бы у них одобрение, не потому, что они слепо доверяли его «учености», а потому, что этот маленький, минутный спор не имел никакого значения, и затеяли его лишь для того, чтобы уважить и потешить его, Луарсаба.

Луарсаба сначала охватило такое чувство, какое бывает, когда слишком поздно спохватываешься и понимаешь, что тебя обвели вокруг пальца, потом это чувство рассеялось и его место заняла смутная гордость и неопределенная почтительность. Эти двое крестьян, на первый взгляд, грубые земледельцы, должны быть, не знают, какой тонкий нерв таится в их теле, как осторожно и тщательно трудились века над созданием их породы. Один из них был круглолиц, светловолос и сероглаз, другой — худощав, хмур и бородат. Они спокойно опирались на свои лопаты и не спеша, с достоинством беседовали. Уважение к гостю не позволяло им продолжать работу, хотя работы у них было еще много и времени, наверное, оставалось в обрез.

Все это Луарсаб понял быстро и собрался уходить.

— Не стану больше вас отвлекать. Вам еще дело надо закончить.

— Коли не побрезгуешь, — неторопливо остановил его бородатый, — помянуть Алистрахо все-таки полагается.

С этими словами он отложил лопату и куда-то на-
правился.

Луарсаб проводил его глазами. Неподдалеку, у по-
дножия липы, стояли кувшин с вином, стакан и тарелка
с тонко нарезанными хлебом и сыром.

Бородатый одной рукой взял кувшин, другою — пу-
стой стакан, обернулся к Луарсабу и остановился.

Сероглазый тоже отложил лопату и присоединился
к товарищу.

Когда Луарсаб подошел к ним, бородатый напол-
нил стакан и протянул ему.

— Стакан чистый. Никто еще не пил.

Луарсаб не сразу нашелся, что ответить. Только
сказал «Ох!» с укоризненной улыбкой и принял стакан.

— Упокой, господи, душу Алистрахо. Продли дни
его потомству.

— Аминь! — хором поддержали его оба.

Бородатый поставил кувшин и пустой стакан на
землю и вместо них взял тарелку.

— Вот хлеб, сыр. Закуси, батоно.

— Благодарю, — Луарсабу совсем не хотелось за-
кусывать, но, чтобы не быть превратно понятым, он
все же отщипнул кусочек сыра и принялся жевать. По-
том, испугавшись, как бы за закуской не последовал
новый стакан, поспешно сказал: — Я пойду, а то и
так отнял у вас много времени.

— Что ты, что ты! — так же поспешно ответил бо-
родатый.

— Ну, всего вам доброго. Дай бог всем вам не ско-
ро дожить до такого дня.

— Аминь!

Луарсаб ушел. Позади было тихо. Только когда он
уже миновал кладбище, до него донесся звук возоб-
новленной работы.

Он не спеша шел по тропинке, едва различимой в
тени высоких деревьев, и тело его наполнялось покоем.
Вино пришлось ему по душе, и настроение улучшилось.

«Откуда такая душевная тонкость у этих людей, ко-
торые всю свою жизнь головы не поднимают от земли?»

Попробуй-ка скажи кому-нибудь — поглядите, ка-
кие тонкие и тактичные люди, — ведь воспримут не ина-

че, как шутку. Для твоего собеседника тонкие и тактичные люди — это, например, всякие Петрэ. Особенно Петрэ Большой. Петрэ Большой и вправду необычайно тонок с его рассчитанными манерами, которые, с одной стороны, словно балансируют на грани беспечности, а с другой — ни на йоту не выходят за рамки приличий; с его жестикуляцией, в которой строгость сочетается с непринужденностью, улыбкой, которая делает его одновременно сердечным и неприступным. В искусстве владения ножом и вилкой он просто не знает себе равных. Точные, выверенные движения, угол наклона головы, величина открываемого рта во время принятия очередного куска. Он так осторожно погружает вилку в мясо, словно боится сделать больно. А ножом орудует так изящно, что может показаться, будто знаменитый хирург проводит операцию. Если кто-нибудь другой вонзит вилку так, как вонзает Петрэ Большой, мясо останется на тарелке, но сам Петрэ Большой знает, где проходит та грань, которую не следует переходить, дабы вилка не показалась жадной, но в то же время достаточно углубилась в мясо, чтобы зацепить его с тарелки. Если же говорить об истинном изяществе, то для этого надо видеть, как Петрэ Большой целует руки у дам. Пытаться передать это зрелище словами просто грешно. Петрэ Большой подходит очень близко к даме (близость, которая находится на грани любезности и дерзости), сначала слегка, лишь в знак приветствия, склоняя голову, легким и непринужденным движением берет ее правую руку так, что обхватывает своими тремя пальцами три пальца дамской руки. Покуда рука его проделывает это, он смотрит прямо в глаза даме, а сердечная и вместе с тем неприступная улыбка, растягивающая его лицо, бывает слегка сдобрена солью кокетства. Затем он чуть-чуть, совсем чуть-чуть притягивает руку к себе, сам же сгибает в низком поклоне все свое большое, тучное тело и, едва касаясь губами дамской руки (главным образом, среднего пальца), беззвучно, чисто символически запечатлевает поцелуй между вторым и третьим суставами. Единственное уязвимое место во всем этом распрекрасном ритуале заключается в том, что сзади Петрэ Большой выглядит при этом не совсем так, как приличествует его должности и общественному положению. Сам Пет-

рэ Большой этого незначительного изъяна не замечает, ибо никому не дано видеть себя со спины. Что до окружающих, то кто и зачем станет указывать ему на это?

Если поставить рядом Петрэ Большого и того сероглазого могильщика, которого зовут не то Сардионом, не то Василием, или другого, бородатого, которого также зовут не то Василием, не то Сардионом, — ни один из могильщиков такого сравнения не выдержит, более того, они создадут выгодный фон его чисто выбритому, одетому с богатой простотой, горделивому и взирающему с глубокой самоуверенностью превосходству. Кому ни покажи эту картинку, всякий отдаст предпочтение Петрэ Большому, ибо глаз завистлив и никогда не думает о том, что у любого кувшина одно и то же назначение, и важна вовсе не красота их снаружи, а качество вина внутри.

«Мне следовало бы все же сходить на панихиду», — подумал Луарсаб.

Он был знаком и с самим Алистрахо, и с его семьей. Однако знал, что не пойдет. Не станет он омрачать сегодняшний день панихидой. И семья покойного не будет в претензии. Луарсаб знал всю деревню, особенно старшее поколение, однако внутренняя дистанция, которую хорошо сознавали обе стороны, все-таки освободила его от формальностей и житейских условностей.

Он прошел всю тропинку обратно и вышел на шоссе, по обе стороны которого выстроились ромашки.

Солище прибавило жару. Впереди был знойный день.

По дороге, подняв облако пыли, промчался грузовик. Луарсаб подался к забору и обождал, пока пыль осядет.

Подходя к своей калитке, он вспомнил о письме, ощутил карман и вошел во двор.

Остальная корреспонденция лежала на скамейке под магнолией, там, где он ее оставил.

В дверях кухни показалась Елена.

— Луарсаб! — и пошла к нему. Видимо, хотела что-то сказать.

— Алистрахо умер, — опередил ее Луарсаб.

Елена чуть наморщила лоб.

— Какой Алистрахо?

Джемал Карчхадзе. День один.

7. «Литературная Грузия» № 1.

— Алистрахо. Специалист по чертям.
Елена недоуменно взглянула на мужа. Потом вдруг вспомнила.

— Что ты говоришь! Такой славный был старик, искренний, добрый! — тут она выдержала небольшую паузу, вероятно, в знак того, что дальше следует новый абзац, и добавила: — Там к тебе какой-то человек

— Что за человек?
— Не знаю. Сам не назвался, а спросить я не решилась, неудобно было...

— Может, это А. Буадзе?
Елена с легкой укоризной поглядела на него:
— Чего ты прицепился к этому А. Буадзе!
— Это он ко мне прицепился, — сокрушенно ответил Луарсаб. — Где этот человек?

— Наверху сидит, под ореховым деревом. В дом войти не захотел.

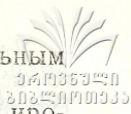
— Ладно. Я поднимусь, съем его и в два счета вернусь, — он улыбнулся жене и пошел по тропинке. Потом, хотя Елена была уже далеко и не могла его слышать, он тем же тоном продолжал: — А кости подброшу во двор к соседям, чтобы на меня не подумали

Человек был уже немолод. Он сидел у стола, опершись руками на трость, подбородок положив на руки, и задумчиво глядел в пространство. Серая, потертая шляпа лежала на столе. Жидкая, серебристая бороденка и длинноватые, еще более серебристые волосы. Белый холщовый китель. Если бы не борода, неприятно бросающаяся в глаза, его можно было принять за провинциального интеллигента. Он был так погружен в свои мысли, что даже не слышал, как подошел Луарсаб.

Луарсаб все-таки принял незнакомца за сельского учителя, учителя истории, который из газет узнал, что Луарсабу Размадзе исполнилось шестьдесят лет и счел своим долгом поздравить «именитого ученого» с юбилейной датой.

— Простите, что заставил вас ждать.
Гость неторопливо повернул голову и столь же неторопливо поднялся из-за стола.

Брюки и туфли у него тоже были белые.
— Извините, я был увлечен своими размышлениями.



— Размышляйте на здоровье, — успокоительным тоном отвечал Луарсаб.

Гость не обратил внимания на добродушную иронию. Он протянул Луарсабу руку и сказал:

— Поздравляю вас с шестидесятилетием.

Луарсаб пожал протянутую руку.

— Спасибо. Действительно, есть с чем поздравить, ибо шестьдесят лет исполняется, самое большее, один раз в жизни.

— Мне тоже сегодня исполнилось шестьдесят лет.

— Вот как! Приятное совпадение! Что ж, давайте сдвинем столы.

— Какие столы?.. А-а! Вы пошутили?

В голосе незнакомца прозвучали странные нотки. Луарсаб с удивлением посмотрел на гостя.

— Похоже, вы не слишком расположены к шуткам.

— Шутка — болеутоляющее лекарство, — произнес незнакомец.

«Неужто он учитель истории?» — усомнился Луарсаб и сказал:

— Пожалуй, вы не учитель истории.

— А что, похож? — незнакомец оглядел свой наряд.

— Нет, я не учитель истории.

— А кто вы? — Луарсаб уловил некоторую напряженность в собственном голосе.

Гость глядел куда-то вдаль, поверх Луарсаба.

— Я Луарсаб Размадзе.

Луарсаб вздрогнул, словно его ударило током. Утренний сон чуть приподнял завесу, выглянул и тут же спрятался вновь. В сознание откуда-то проникло слово «плагиат», которое не находило себе места, так как его окраска не соответствовала той среде, где оно намеревалось угнездиться.

Прежде чем Луарсаб успел опомниться и что-либо ответить, незнакомец опередил его и, едва заметно улыбнувшись, сказал:

— Извините. Я ошибся.

— В чем? В собственном имени?!

Слова эти вырвались так быстро, что Луарсаб даже не успел испытать удивление.

— Не удивляйтесь, — спокойно сказал незнакомец.

— Удивление сопряжено с нелепой уверенностью, будто все загадки мироздания вами уже разгаданы. — Тут он на мгновенье смолк, а затем добавил: — Анаподистэ Буадзе.

Луарсаб невольно схватился правой рукою за левый карман, где лежало письмо, и этим движением стал похож на человека, внезапно ощутившего острую боль в сердце.

Он медленно опустился на каменную скамью, внимательно поглядел на гостя и вдруг протяжно присвистнул.

— Чтобы отгадать такое имя, не хватило бы целого батальона Ларис. Тем более, что вы неправильно подписались. «Анаподистэ» сокращенно пишется не «А.», а «Ан.».

— Я не знал, — со спокойным интересом отвечал гость и прибавил: — Как видно, вы получили мое письмо.

— Получил.

— Произошло недоразумение.

— Какое недоразумение?

— Я написал это письмо не вам.

Словно луч света проник в потемки и остановился невдалеке.

— А кому вы его написали? — сурово спросил Луарсаб, но тут же смутился и поправился: — То есть, кому вы писали, меня не касается... Но почему вы прислали письмо мне?

— По недоразумению. Поэтому-то я и пришел. Я хочу извиниться перед вами и, если вы не порвали и не выбросили письмо, забрать его назад.

— Не порвал, — ответил Луарсаб. — И не выбросил. — Он вынул письмо из кармана и положил на стол. — Возьмите.

— Спасибо. — Гость взял письмо и взглянул на него. — Еще раз прошу извинить за то, что побеспокоил вас и отнял столько времени.

— И все-таки, как могло случиться, что вы, написав на конверте мой адрес, вложили в него чужое письмо?

Гость некоторое время молчал. Потом сказал:

— Когда я написал это письмо и собирался отправить его тому, кому должен был его отправить, мне в

руки случайно попала газета, в которой была напечатана большая статья, посвященная вам. — Анаподистэ Буадзе оперся руками на трость, положил подбородок на руки, поглядел вдаль и застыл в той самой позе, в которой застал его здесь Луарсаб. — Материя не может существовать в состоянии абсолютного покоя; покой — это единственное средство победить материю... Статья вызвала у меня раздражение. Мне показалось, что автор статьи слишком уж вас расхваливал... Когда я понял, что сделал глупость, письмо было уже отправлено. — Он достал из кармана сложенную газету и вложил в нее свое письмо. — Она во всем и виновата! — И наградил газету щелчком.

— Это та самая газета?

— Да. Та самая.

— Разрешите? — Луарсаб протянул руку к газете.

— Пожалуйста.

Луарсаб взял газету, вынул из нее письмо, положил его обратно на стол и принялся разворачивать газету.

Разумеется, он узнал ее, не разворачивая. Он и сам хранил два или три экземпляра. Автором статьи была довольно приятная на вид женщина, молодая, интересная; правда, она безвкусно хлопала своими длинными ресницами и надоедливо кокетничала. Это неестественное кокетство как раз и подчеркивало тот глубокий и самобытный провинциализм, который приходит не из провинции, а рождается и процветает в столице, и который, в отличие от внешнего, периферийного провинциализма, облетающего легко, как пыльца, не выбьешь ничем, против него беспомощны и воспитание, и просвещение, и среда, ибо он растворен в крови, и никакая сила не изгонит его оттуда... Хвалила она его действительно нещадно, но что удивительного обнаружил в этом Анаподистэ Буадзе? Нет, статья, конечно, ничего особенного собою не представляет, она не принесла пользы Луарсабу и не прославила в журналистике имя автора. Зато портрет, действительно, получился удачный — легкая, ироничная улыбка Луарсаба, задумчиво глядящие вдаль глаза, бодрое, молодое выражение лица.

Портрет и в самом деле получился хорошо. Именно из-за портрета Луарсаб сохранил несколько экземпляров газеты, а вовсе не из-за статьи.

Луарсаб развернул газету, глянул — и оторопел.

Газета была изуродована скверными лиловыми чернилами.

На портрете ему была пририсована длинная остроконечная борода, разрез глаз сужен, на голове — папаха, усы закручены кверху, лоб изборожден морщинами, уши удлинены (причем левое — больше, чем правое), щеки покрыты мелкими штрихами, отчего лицо казалось небритым.

— Это ваша работа?

— Где? — Анаподистэ Буадзе вплотную приблизил голову к Луарсабу и посмотрел. — А-а! Да, моя.

— Это, по-вашему, я, так?

— Конечно, вы. Со спины.

— Со спины? — Луарсаб отвел глаза от газеты и посмотрел на гостя.

— Со спины, — спокойно подтвердил гость. — У меня не получилось как следует. Вы, наверное, поняли, особенно по очертаниям ушей, что мне никогда не приходилось ничего рисовать. Некоторые делают это превосходно.

— Гм... — Луарсаб сложил газету, сунул в нее письмо и вернул владельцу.

Анаподистэ Буадзе спрятал газету в карман кителя.

Когда они пошли по тропинке, Луарсаб спросил:

— Как вы нашли меня здесь?

— Я позвонил вам домой, в Тбилиси. Номер телефона разыскал в справочнике. Мне сказали, что вы в отпуске и дали этот адрес.

«Что за странный тип!» — подумал Луарсаб. Потом сказал:

— Если хотите, оставайтесь. Вечером у меня большой пир. Будем бросать шапки в потолок, — и поглядел на потрепанную шляпу гостя.

Анаподистэ Буадзе снял шляпу, посмотрел на нее и надел снова.

— Нет, спасибо. — И неожиданно прибавил: — Я живу вон там, за лесом.

Луарсаб бросил на него косою взгляд и усмехнулся.

— Можете мне не объяснять. Карету вы за мной не пришлете, а без кареты я к вам в гости не собираюсь... Где, вы сказали, живете?

— На той горе. Вон, поглядите, — показал рукою гость. — Видите маленькую полянку на вершине горы?

Луарсаб присмотрелся и увидел.

— Вижу.

— Там и находится мой дом. Сразу же за вершиной горы.

И тут Луарсаб узнал его.

Он резко, решительно остановился.

Гость тоже остановился и обернулся.

— Нет-нет! Не оборачивайтесь. Я хочу посмотреть на вас в профиль. — И, когда гость повернул голову, с уверенностью заключил: — Да, этой ночью я видел вас во сне.

Анаподистэ Буадзе не обнаружил ни малейшего удивления.

— Вы получили уже письмо?

— Нет. Письмо доставили только утром.

— У вас сильный заряд. Такие люди, как вы, не должны размениваться на пустяки.

Луарсаба удивило, что гость не придавал особого значения истории со сном; некоторое время он молча глядел на гостя. Потом, когда они двинулись дальше, спросил:

— Что вы называете пустяками?

— Все повседневное. Все преходящее.

— Но ведь все преходяще.

— А душа? — покосился на него гость.

Луарсаб недовольно поморщился. Он не любил, когда о таких вещах говорили серьезным тоном.

— Я люблю точность. Все, что существует, преходяще.

— Вы правы. Мы не в том возрасте, чтобы вести бесполезные дискуссии. Хотя, по-моему, «Гамлета» мог бы свободно написать кто-нибудь из нас, а вовсе не обязательно один Шекспир.

Луарсаб не понял, на основании каких предположений гость мог сделать подобный вывод, но спросить не успел, потому что они уже дошли до лужайки, где их ждала Елена.

Анаподистэ Буадзе приподнял шляпу и поклонился Елене.

— Простите меня, сударыня, за этот непрошенный визит. Всего наилучшего.

— До свидания.

Луарсаб проводил его до калитки. Ни один из них не проронил ни звука.

У калитки гость попрощался:

— Всего доброго.

— Всего доброго. А вы не отмечаете свой день рождения?

— Нет, — уже из-за калитки ответил Анаподистэ Буадзе. — Я не слежу за этим. О том, что сегодня мой день рождения, мне напомнил ваш юбилей. Прощайте.

Луарсаб некоторое время смотрел ему вслед. Сунув трость под мышку, гость проворно, как юноша, шагнул по спуску.

Анаподистэ Буадзе скрылся из глаз, и первая мысль, мелькнувшая в голове Луарсаба, была: «У этого человека совершенно нет характера».

Эта мысль смутила его, поскольку он смутно почувствовал, что за нею подразумевается нечто такое, что вызывало у него глубокий протест.

Нет. Невозможно, чтобы у человека не было характера. В противном случае придется допустить существование чего-то такого, чего в действительности не существует. Но характер должен проявляться в изменчивости. Человек непрерывно отдает какую-то часть своего существа и столь же непрерывно приобретает какую-то часть чужого существа. А этот Анаподистэ Буадзе ничего не отдает и ничего не приобретает. Словно нашел какую-то неподвижную точку и оттуда хладнокровно наблюдает за круговращением мира. Выражение его лица ни разу не изменилось, в лице не дрогнул ни один мускул, голос ни на мгновение не сменил интонации. Тем же тоном, каким он приносил извинения Елене за свой непрошенный визит, он рассказывал Луарсабу о том, как разрисовал его портрет.

А может, все это как-то проявлялось, только глазами Луарсаба не хватило зоркости и остроты?

Такая мысль мелькнула в мозгу, но тут же была отвергнута.

Луарсаб славился именно тем, что умел быстрее и лучше других понять природу человека.

Нет, тут должна быть иная причина... У него и внешность какая-то странная, неконкретная.

«Выдумываю себе что-то!» — подумал Луарсаб и рассердился на себя за то, что уделяет столько времени человеку, совершенно случайно оказавшемуся в поле его зрения.

Елена по-прежнему стояла перед домом.

— Ты словно цветок на этой лужайке, — еще издали крикнул Луарсаб.

Елена с теплой улыбкою приняла комплимент. Потом спросила:

— Кто это?

— А. Буадзе.

— Ох, ну сколько можно!.. — Елена не поверила, и лицо ее приняло такое выражение, какое бывает, когда человеку докучают одной и тою же шуткой.

— Я серьезно, — и Луарсаб крикнул в сторону кухни: — Эй, Анаксагор!

На пороге показалась Лариса.

— Вы меня звали? — с таким хладнокровием и достоинством спросила она и таким деловитым жестом поправила очки, словно иначе, чем Анаксагором, ее никогда в жизни не называли.

«По части юмора она сущий Анаподистэ Буадзе», — подумал Луарсаб.

— Иди сюда, — позвал он и, пока Лариса направлялась к нему, прибавил: — Как и следовало ожидать, ты оказалась ближе всех к истине. Его имя — Анаподистэ.

— Чье? — спросила Лариса.

— Анаподистэ Буадзе.

— Это действительно был он? — в голосе Елены сквозило недоверие.

— Ты тоже оказалась ближе всех к истине, — обратился на сей раз к жене Луарсаб. — Все треволне-

ния и зубовой скрежет, вызванные этим пресловутым письмом, оказались следствием недоразумения.

Елена испытующе глядела на него.

— И что же он тебе сказал?

— Ничего. Извинился и попросил письмо обратно. Я разом избавился от бесчисленных обвинений. А это весьма и весьма важно, ибо нервотрепка препятствует пищеварению.

Елена по-прежнему не сводила с него глаз, в отличие от Ларисы, которая, повернув свою маленькую круглую голову, разглядывала цветы магнолии.

Зазвонил телефон.

— Я возьму трубку, — опередила всех Лариса и, не дожидаясь ответа, помчалась на второй этаж.

— Что происходит? — негромко, словно про себя, спросила Елена.

— Не знаю, — так же негромко и спокойно ответил Луарсаб, и сейчас в его голосе не было и тени иронии. Возможно, мы попались в сети. Во всяком случае, вода как-то подозрительно колышется и тянет вниз.

— Кажется, я старею, — с улыбкой покачала головой Елена.

На балконе появилась Лариса.

— Батоно Луарсаб, вас просят к телефону.

— Я ушел гулять, Лариса, наслаждаюсь птичьим щебетом в роще и вернусь через полчаса.

— Хорошо, — Лариса повернулась и собралась уйти.

— погоди! — окликнул Луарсаб. — Кто меня спрашивает?

— Батони Петрэ.

— Который это Петрэ, Большой Петрэ или Малый Петрэ?

— Большой.

— Я в роще. Слушаю птичий щебет, — но, прежде чем Лариса успела отойти, окликнул ее вновь: — Постой, постой! Я сейчас поднимусь. Птички свое отщебетали.

Спиною он чувствовал задумчивый взгляд Елены. На лестнице Лариса прижалась к перилам, давая ему дорогу.

Смешанное, неоформившееся ощущение, родившееся

не в сердце, а где-то вне тела, торопливо семенило рядом и в чем-то упрекало Луарсаба.

— Слушаю вас!

— Долгих лет жизни и здоровья почтенному Луарсабу!

— Здравствуйте, батано Петрэ. Как вы пожи...

— Поздравляю тебя с праздником зрелости.

— Спасибо, батано...

— Чтобы ты встретил свое столетие таким же бодрым и молодым, мой Луарсаб!

— Большое спасибо, батано Петрэ! — по комнате бестолково, как заблудившаяся летучая мышь, носилась мысль: «С чего ты взял, что свое шестидесятилетие я встретил бодрым и молодым?»

— Кажется, ты собираешься пировать вовсю. Запахи даже тут нам голову кружат!

— Что нам запахи, батано Петрэ! Запахами боги питаются. Нам отведать надо.

— Ха-ха-ха! И то правда.

— О вас тут слухи ходят, будто вы собираетесь в город и вечером у нас за столом не будете. Это было бы серьезным предательством, батано Петрэ. Подводить столько людей, оставив их без тамады, просто непростительно.

— Ты собираешься назначить меня тамадой?

— Назовите лучшую кандидатуру, и я вас освобожу.

— И тебе меня не жалко? Разве можно взваливать все на меня. Я столько не выдержу.

— Уж кто-кто, а вы выдержите. Надеюсь, слухи останутся всего лишь слухами.

— Мне действительно нужно съездить в город, но я вернусь. Ну, может, на полчаса опоздаю. Знаешь что? Лучше не жди меня и назначь тамадой кого-нибудь другого. А меня, если хочешь, заставишь выпить штрафной.

— Нет-нет, исключено. Мы вас дождемся, спешить некуда.

— Послушай, ведь неудобно же из-за меня заставлять ждать столько народу!

— Ничего, найдем какое-нибудь развлечение.

— Начнутся всякие намеки, пересуды...



— Ничего не начнется.

— Ладно, что с тобой поделаешь! Ты хозяин, что прикажешь, то и сделаю. Ну, до вечера, мой Луарсаб. Еще раз поздравляю и целую тебя.

— Спасибо, спасибо. Большое вам спасибо.

Луарсаб повесил трубку.

Спектакль окончен.

Впрочем, нет, не спектакль, а лишь эпизод, одна сцена — он же и Петрэ Большой, сам же спектакль вечен и длится бесконечно.

Петрэ Большой прекрасно знал, что его подождут и так, и полчаса, и все полтора часа. И что тамадой изберут, тоже знал, однако предпочел соблюсти приличия.

Луарсаб подошел к окну. Созревший сад словно смеялся, переливаясь веселыми красками.

Петрэ Большой — эстрадный комик. Поначалу он облачается в броню строгой официальности, препоясывает чресла мечом любезности, станет обращаться к тебе не иначе, как «батано», притом со всяческими реверансами, и принуждает тебя к тому же. Потом, когда ты хорошенько проникнешься чувством дистанции, он спихивает всю эту неприступную официальность на тебя, а сам начинает шаг за шагом подниматься вверх, постепенно избавляясь от оружия и панциря, и в конце концов станет говорить тебе «ты» и «послушай». Так закрепляется на своей недосыгаемой высоте Петрэ Большой. Если же набраться смелости и начать подниматься вместе с ним, он тут же вернется к исходному положению и все начнет сначала (только чуть более подчеркнуто и чуть менее мягко).

Тот, кто не знает правил игры Петрэ Большого, бывает так очарован его первоначальной любезностью, у него так кружится голова от иллюзии того, что они с Петрэ Большим на равной ноге, что даже голос его меняет тембр и становится более солидным, — так вырастает человек в своих собственных глазах. А под конец, запутавшись в силке и понимая, что на него свалили соблюдение односторонней дистанции, воспринимает односторонность этой дистанции как закон, как явление неизбежное и естественное, и все-таки то, исходное положение, то первоначальное, призрачное равноправие по-прежнему тешит его жалкое тщеславие.

Луарсаб подошел к столу, поднял телефонную трубку и тут же положил обратно на рычаг. Потом вернулся к окну и, скрестив руки на груди, долго глядел в сад.

Быть может, мы играем в эти игры не потому, что Петрэ Большой желает играть с нами, а наоборот, Петрэ Большой играет потому, что мы согласны играть с ним? Быть может, мы сознательно съежились, сознательно уменьшились и попросту вынудили его быть Большим?

«— Алло! Скажи, Петрэ, зачем тебе вся эта комедия? Я же знаю, что сегодня в городе у тебя нет такого дела, из-за которого ты мог бы опоздать к столу. Кого ты хочешь обмануть? С кем пытаешься играть в прятки? Приходи по-человечески, будь рядовым участником застолья, тамадой выберем другого. Хотя бы Петрэ Малого».

Телефон был черного цвета.

Тестю Калистратэ недоставало таланта, поэтому-то он был вынужден жить за счет совести. Должно быть, именно это он и имел в виду, говоря ту фразу, которую припомнила нынче Елена.

Сон внезапно разом выбрался из тьмы на свет.

К сумеркам, застилавшим окрестности, примешивался странный багровый свет, из-за чего все вокруг было окрашено в цвет, наводивший на мысли о могильной тишине. Какое-то строение лежало в развалинах, и глыбы камня хаотически валялись на земле. Эти огромные глыбы вызывали непонятное удивление. И к этому удивлению примешивалось небольшое, но какое-то роковое наслаждение, которое не заменишь никакими другими удовольствиями. Внизу камни поросли мхом. Земля была покрыта травой. Луарсаб Размазде осторожно переходил от одной каменной глыбы к другой; временами нога его скользила, и тогда он обеими руками хватался за камни. Его сопровождал Президент Академии. Что это был Президент, свидетельствовал бесспорный признак, установить который никак не удавалось, но который, однако, порождал непоколебимую уверенность в том, что это Президент. У него были седые волосы и седая борода, и Луарсаб

Размадзе некоторое время размышлял о том, настоящая это борода или приклеенная. Когда за самой большой глыбой показалась кирпичная стена, Луарсаб с надеждой произнес: «В прошлом году меня забаллотировали, но, может быть, в этом году все же изберут в академики!» «В этом году тоже забаллотировают, — утешил Президент и указал рукою на стену: — Видишь? Дверные проемы разных размеров. О какой науке можно говорить в таких условиях?» Дверные проемы действительно были разной величины, и Луарсаб сказал: «Что дверные проемы! Главное, крыши нет». Президент посмотрел, и бровь его поползла вверх. «Как же нет крыши? А это что такое?» — и указал рукою на небо. Луарсаб удивился и даже немного устыдился, что не заметил такой простой вещи. Теперь земля пропастью лежала далеко внизу, и огромные глыбы казались маленькими камушками. Страх высоты щекотал пятки Луарсаба, и к этому страху тоже примешивалось небольшое, но отчаянное наслаждение, которое не заменишь никакими другими удовольствиями. Справа, за поросшею мхом стеною, простиралась темная пустота. Президент остановился у окошка. Окошко было круглое. Президент глядел в окошко, и на лице его было такое выражение, которое невозможно определить никакими эпитетами. Луарсаб заинтересовался, подошел поближе и, взглянув в окошко, увидел вдаль, на холме, белую церковь; он встревожился, потому что до сих пор никогда не замечал церкви из этого окошка. Президент смотрел на церковь, смотрел, потом грустно покачал головою и сказал: «Вот досада — такой резонанс пропадает!» Луарсабом же при виде церкви овладело чувство одиночества и опустошенности, и настроение у него испортилось. Зал по какому-то неясному, но бесспорному признаку был залом Академии, хотя внешне из-за стола, стульев с высокими спинками и гнетущей атмосферы скорее напоминал зал суда. Президент уселся в судейское кресло и сказал: «В этом году тоже забаллотировают». «Почему?» — спросил Луарсаб. «Не побелеет ворон черный, хоть три песком его всю жизнь», — пословицей ответил Президент и захихикал. Луарсаба рассердила неуместная шутка Президента. Когда смех перешел в кашель, Президент поднялся и протянул Луарсабу руку: «Прощайте!». Луар-

саб пожал руку и спросил: «Уже закончилось?» «Нет», — ответил Президент, — но дети устраивают карнавал и просили меня принять в нем участие. Я и бороду приклеил специально для карнавала».

Все как будто было восстановлено точно, со всеми деталями и подробностями. Однако этого оказалось недостаточно, потому что явственно восстановленному сну не хватало чего-то существенного, важнейшего стержня, какой-то живительной искры, того, что все-таки обедняет точнейшую копию в сравнении с оригиналом. Сон — это самостоятельный мир, в котором хаотически разбросанные каменные глыбы и поросшая мхом кирпичная стена глубокой внутренней связью объединены с увиденной в окошко белой церковью и карнавальной бородою Президента. Для пробудившегося же сознания этот страх, раздражение и небольшое, однако всеобъемлющее наслаждение, которое во сне обнажает важнейший нерв Судьбы и с болезненным блаженством задевает его, — картина совершенно безжизненная.

Иначе, собственно, и быть не могло. Уступая своему жгучему желанию, Луарсаб не стал считаться с действительностью, ведь он отлично знал, что обшаривать сны — напрасный труд. Зато теперь у него появился новый предмет для размышлений: хорошенько все припомнив и восстановив в памяти, он с удивлением обнаружил, что виденный во сне Президент вовсе не был Анаподистэ Буадзе. То, что недавно он принял за тождество, оказалось всего-навсего общим сходством. Между тем, когда он сказал Анаподистэ Буадзе, что видел его во сне, у него не было и тени сомнения в том, что он говорит чистую правду. А теперь эту правду сменила другая правда, и, что самое главное, невозможно было разобраться, которая из них была настоящей, ибо единственный свидетель, то есть он сам, дал два взаимоисключающих показания.

Луарсаб тяжело прошелся по комнате. Ходить было трудно. Словно вместо крови в жилах у него был свинец.

Остановившись посреди комнаты, под люстрой, он подумал:

«Не стоило мне подниматься. Пускай бы Лариса

сказала, что меня нет дома, а вернусь через полчаса. Неужели через полчаса он бы позвонил снова? Он бы понял, что это ложь. Во-первых, Лариса врать не умеет, она не меньше двух раз запнулась бы, а кроме того, в таких вещах Петрэ Большого не проведешь. У него самого имеются уловки похитрее. Ну и догадался бы себе на здоровье! Что из этого? Не явился бы в гости? Большое дело! Впрочем, придти-то пришел бы. Хотя бы для того, чтобы не показать обиды... Хм! Даже у самого Петрэ Большого жизненный путь не устан розами!»

«А тем временем Алекси-Але мирно и беспечно поживает», — возникла откуда-то неуместная мысль.

Внезапно в теле что-то задвигалось, и то, что двигалось в теле, разрывало его, оставляя повсюду на своем пути боль. Боль была глухая и нерезкая, она распространялась по всем направлениям и с силой давила на стенки тела.

И Луарсаб догадался: Анаподистэ Буадзе солгал!

Анаподистэ Буадзе солгал. Письмо попало к Луарсабу не по ошибке. Письмо было послано именно ему, потому что адресатом такого письма не мог быть никто иной, кроме Луарсаба Размадзе, жалкого червя, не обладающего не только собственной волей, но даже собственной реакцией на раздражение, который, наступив на него ногою, станет корчиться и извиваться в полном соответствии с предположениями наступившего.

Он сел на стул, оперся локтями на стол, зарылся лицом в ладони и закрыл глаза.

Комната наполнилась незнакомыми звуками. Звуки наплывали со всех сторон, смешивались друг с другом и временами даже складывались в отдельные слова, однако мысль валялась с перебитым хребтом и не в состоянии была приподняться, чтобы проследить за смыслом слов. «Сейчас я потеряю сознание», — подумал Луарсаб, и в тот же миг на смутной грани обморока появились разноцветные фигуры. Очертания этих разноцветных фигур были как будто довольно четкими и напоминали предметы, которые ему не раз приходилось видеть, но звуки, заполнявшие комнату, мешали ему узнать их. Разноцветные фигуры переходили одна в другую, уничтожали друг друга и расплывались чистыми цветами, потом эти цвета вновь смешивались,

создавая бесплотные фигуры. Треугольники, квадраты, многоугольники плавно парили вокруг, и в этой радужной геометрии было заложено блаженство вечного покоя. Не существовало ничего, кроме этого ощущения наивысшего блаженства, да и не могло существовать, ибо все остальное, что было до сих пор, не было реальностью, а лишь болезненным, кошмарным видением.

Вдруг из дальней, заброшенной комнаты вновь доносились незнакомые звуки, принеся с собою какое-то смутное, но отвратительное и грубое воспоминание. Радужные фигуры, словно птицы, вспорхнули и улетели. Луарсаб Размадзе явственно ощутил, что мысль его выбралась из темной дыры, и пропасть под нею, подобно болоту, сомкнулась.

В комнате стояла тишина. Только из сада изредка слышно было, как поют птицы. Слабость, похоже, прошла, но подняться он ленился. Сидя за столом неподвижно, он прислушивался к собственным мыслям, которые рождались в виде готовых картин и с упрямой настойчивостью пытались воскресить то, что давно уже кануло в прошлое и позабылось.

Все минувшее, далекое и недавнее, приняло необычную позу и предстало перед внутренним взором под таким углом, под каким его ни разу до сих пор не рассматривали. Этот образ прошлого был невидимо, но прочно связан с радужными фигурами из недавнего видения, и все это красною нитью пронизывало нечто, вызывавшее отчетливое воспоминание о тесте Калистратэ. А история с Анаподистэ Буадзе, излившим на Луарсаба Размадзе свою эпистолярную желчь, в свою очередь, тоже нанизывалась на красную нить, проведенную рукою тестя Калистратэ. И за всем этим на фоне, цвет которого различить было невозможно, как-то странно плавал образ Елены, не умещавшийся ни в какое привычное русло и спокойно ускользавший от любого определения, как дурного, так и хорошего.

Где-то, в недостижимых глубинах существа, металось и бурлило чувство стыда.

В мозгу возникло странное видение. Хляби небесные разверзлись и низринули на землю потоки дождя. Все живое попряталось в свои норы, лишь Луарсаб Раз-

мадзе стоял один в чистом поле, ничем не прикрытый и промокший до нитки. Где-то гремел гром, где-то сверкала молния. Ливень хлестал его по лицу, а он, изумленный и погруженный в размышления, никак не мог понять, почему этот потоп был ничем иным, как его давешним разговором с Петрэ Большим. Тело наполнялось этим необычным разговором, пропитывалось дождем, лившим, как из ведра, едва не превращаясь в сплошную воду. И не было вокруг ни единого деревца, под которым можно было укрыться и переждать дождь...

Луарсаб наморщил лоб, несколько раз мучительным усилием закрыл и вновь открыл глаза.

Разговор с Петрэ Большим был разговором нищего с царем, и каждый его эпизод, каждая фраза и каждое слово кинжалами вонзались в сердце. Но это было лишь следствием, причины которого коренились глубоко в прошлом, где и черпали питательные соки и силу.

«Бескомпромиссная свобода мышления» должна довольствоваться хлебом и водою, иначе на каждом шагу ее будут подстерегать соблазны, вроде дачи, которую полюбишь так, что позабудешь, в награду за какое великое самоотречение ты ее получил...

Порою, когда неотложные дела выстраивались в цепь, не дававшую ему возможности приехать, душа его с неизъяснимой тоскою стремилась сюда. Смежив веки, он представлял себе весь сад, мысленно гуляя по его тропинкам и поглаживая рукою деревья и кусты. Одним словом, любил...

Почему в его видении Елена ускользала от всех эпитетов, и дурных, и добрых? Где была Елена на протяжении всего этого времени?

Образ Елены замутился, растворился, пропал. Сердце Луарсаба сжалось от страха, он сделал над собою усилие, чтобы собрать вновь этот развеявшийся образ и ясно представить его себе, однако сколько он ни старался, ничего не получалось. Он знал, какой у нее нос, какие губы, какие глаза, но это знание было умозрительным, возникшим при посредничестве рассудка, сам же образ, то есть знание истинное и непосредственное, затерялся без следа, и память никак не могла восстановить его.

Острая боль внезапно кольнула его в грудь. Она вонзилась, как отточенный клинок, принялась кромсасть и грызть все подряд, и лишь тогда, когда в грудной полости уже не осталось ничего, кроме пустоты, она тяжело прилегла там, насытившаяся, с налившимися кровью глазами, и разом обратилась в злобное подозрение.

У подозрения не было ни конкретного образа, ни имени. Это еще больше встревожило Луарсаба, он поспешно встал, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Во дворе он на миг приостановился, зажмурился, прислушался к самому себе и еще раз оглядел свое расплывчатое и не имеющее точного адреса подозрение. Затем, стараясь по возможности двигаться не спеша, с напускной беспечностью вошел в кухню.

Лариса вертелась у плиты. Елена сидела за столом и перебирала орехи. Луарсаб поглядел на нее, и в душу к нему пролилось тепло. На миг он прикрыл глаза. Потом снова поглядел на нее и подумал:

«Да, она такая; подвижные, ясные, тонкие черты... Чем-то похожа на своего отца... Выражением лица, должно быть».

Елена подняла на него глаза и улыбнулась.

— Ну, что Петрэ...

— Сказал, что если его не назначат тамадой, он не придет.

Елена снова улыбнулась.

— Так назначь его, разве тебе жалко!

— А если он не явится, думаешь, мне будет жалко?

— Это ни к чему.

Елена своим удивительным чутьем всегда находила то единственное выражение, которое точно характеризовало ситуацию. «Ни к чему». Ни одно другое выражение не смогло бы выразить со всей полнотой и в то же время с необходимой нейтральностью то, что делало приход Петрэ Большого более предпочтительным, нежели его отсутствие. До этого выражения Луарсаб добирался бы путем логического отбора и анализа, Елена же, не задумываясь, без колебаний нашла самые нужные слова.

Луарсаб вышел из кухни. Того, главного решения

у него не было еще и в помине. Даже когда он открывал дверцу машины, он еще ничего не решил. На шум выглянула Елена и, увидев мужа в машине (он сидел неподвижно, опершись руками на руль), вышла во двор.

— Едешь куда-нибудь, Луарсаб?

Вот тут-то и возникло решение. Во всяком случае, именно в этот момент Луарсаб понял, что решение возникло.

— Съезжу, выражу соболезнование родне Алистрахо.

Елена немного помолчала.

— Я разбужу Алекси-Але, — предложила она спустя минуту, и в голосе ее Луарсабу послышались нотки, которых он до сих пор не замечал.

— Не стóбит, пускай спит. Я сам поеду.

Пока машина заводилась и медленно трогалась с места, Луарсаб чувствовал на себе неотступный взгляд Елены.

Он выехал со двора, миновал пыльный спуск и свернул на асфальтированную дорогу. Справа, по склону горы, расстилались кукурузные поля. Слева вдоль дороги тянулся овраг. Машина мягко катилась по дороге. У развилки он свернул вниз и поехал по шоссе. Солнце припекало. Он долго ехал по спуску, доехал почти до самой реки, затем свернул в узкий проулок и остановил машину у деревянной калитки.

Во дворе было полно народу. Пришедшие на панихиду пораньше группами стояли перед домом и весело беседовали. В дальнем углу двора горел огонь, а на треножнике стоял огромный котел. Несколько человек деловито суетились вокруг. В другом углу двора устанавливали навес. Там нужны были согласованные действия, и люди громкими возгласами требовали их друг от друга.

При появлении Луарсаба люди оглянулись, и группа, стоявшая перед самой калиткою, посторонилась, уступая ему дорогу, хотя в этом не было никакой нужды. Облокотившаяся на перила женщина в черном поспешно повернулась и вошла в комнату. В ту же секунду оттуда послышались рыдания. Луарсаб догадался, что стоявшая на часах женщина предупредила родню умершего о приходе очередного соболезнующего.

Оба сына и зять Алистрахо стояли наверху лестницы. Луарсаб пожал им руки и вошел в комнату. Алистрахо покоился посредине. Вдоль стен сидели родные и близкие покойного, сплошь женщины, лица которых при появлении Луарсаба приняли почтительное выражение.

Вдова Алистрахо взглянула на Луарсаба, а затем обратилась к мужу:

— Хватит тебе, старый, лежать. Открой глаза и посмотри, кто пришел тебя оплакать!

Это было сказано настолько просто и естественно, что если бы Алистрахо и в самом деле поднял голову и огляделся, Луарсаба это ничуть не удивило бы.

Пожимая руку вдове, он в знак сочувствия прикрыл ее сморщенную ладонь и второй рукою.

— Спасибо тебе, батано, — сказала женщина. — Любил бедняга потолковать с тобою.

Луарсаб обошел комнату вокруг и вышел. Рыдания в комнате прекратились. Во дворе он ненадолго задержался. В группах, стоявших поближе к нему, сразу заговорили тише.

Потом, когда в калитку с причитаниями вошли две старухи и на их вопли отозвались сверху, Луарсаб улучил момент, вышел со двора, сел в машину и задним ходом выехал из проулка.

На углу он остановил человека, который нес брезент, и спросил:

— Простите, по этой дороге я выеду на мост? — и махнул рукою вниз, в сторону реки.

— Нет, батано. Вам надо бы проехать вверх, там по большой дороге первый поворот минуете, а на втором сворачивайте.

— Спасибо.

— Не за что, батано.

Луарсаб поехал наверх. Выехав на асфальт, свернул налево. Второй поворот полого спускался к реке.

Вскоре показался и мост.

За мостом дорога вела влево и постепенно поднималась в гору.

По деревне он поехал медленно, глядя по сторонам, однако так и не встретил ни одного живого существа.

Наконец, миновав село и утратив надежду, он вдруг заметил на дороге человека. Человек тащил на уздечке корзину и медленным шагом спускался под гору.

Поравнявшись с ним, Луарсаб остановил машину, высунул голову в окно и поздоровался.

Мужчина остановился и снял со спины корзину. Сначала он высвободил из-под лямки левое плечо, затем присел на корточки и, когда дно корзины коснулось земли, высвободил правое плечо, потом медленно поднялся на ноги и, лишь выпрямившись во весь рост, ответил на приветствие:

— Здравствуй, батано.

Раз уж мужчина поставил корзину, Луарсаб счел своим долгом выйти из машины.

— Извините за беспокойство. Вы не знаете, где здесь живет Анаподистэ Буадзе?

Мужчина не спеша, внимательно оглядел сначала Луарсаба, потом его машину и наконец сказал:

— Да, батано. Это там, на пригорке.

С этими словами он нагнулся, запустил руку в корзину и вынул две большие груши.

— Возьми, они вкусные.

Луарсаба словно окатило теплой волной.

— Спасибо, — ответил он и взял одну грушу.

— Возьми, возьми, рот освежишь в дороге. Не думай, что с земли подобрал — сам сорвал с дерева, — последняя фраза, должно быть, объяснялась видом, костюмом и машиною Луарсаба.

— Спасибо. Большое спасибо. — Луарсаб взял вторую грушу. — Я доеду по этой дороге до дома Анаподистэ Буадзе?

— Да, — с некоторым колебанием ответил мужчина и тут же пояснил причину этого колебания: — До самого дома на машине не доедешь. Когда одолеешь подъем, дорога повернет направо, в лесничество. От того поворота пешком поднимешься вверх. Метров двести, не то триста придется пройти.

— Большое спасибо.

— Не за что, батано. — Мужчина присел на корточки, продел руки в лямки корзины, чуть наклонился вперед и, оторвав корзину от земли, медленно выпрямился. — Счастливого пути!

Луарсаб сел в машину, положил груши рядом с собой и принялся одолевать подъем.

Чем выше он поднимался, тем меньше следов века встречалось вокруг. Дорога шла посреди густого красивого леса. Здесь была тень, прохлада и слегка пахло сыростью.

Где-то в пространстве родилась странная мысль, она с тихим шорохом приблизилась и проникла в сознание Луарсаба.

«Анаподистэ Буадзе не ошибся, когда сказал, что он — Луарсаб Размадзе».

Машина резко затормозила.

Луарсаб откинулся на сиденье и устремил взгляд в пространство. Руки с дряблыми венами безжизненно лежали на руле. Так он сидел некоторое время, совершенно ни о чем не думая.

Немного успокоившись, он собрался ехать дальше и повернул ключ в замке зажигания.

Машина жалобно заурчала и затихла.

«В чем дело?» — подумал Луарсаб и попытался снова завести машину, однако результат был тот же.

Он нахмурился и поглядел на приборы.

Еще раз повернул ключ. Поскольку и на сей раз судьба ему не улыбнулась, он вылез из машины, открыл капот, деловито поглядел на скопление множества деталей, а затем, как это свойственно попавшим в безвыходное положение невеждам, наудачу потрогал некоторые из них рукою. Потом закрыл капот, сел в машину и вновь прибегнул к помощи единственного знакомого ему тут инструмента — ключа.

Машина заурчала так безнадежно, словно хотела сказать: оставь меня в покое, ты же видишь — мне не до тебя.

Луарсабу надоела эта возня, и он действительно оставил машину в покое.

«Пошлю сюда вечером Алекси-Але, и все дела», — подумал он и вылез из машины. Потом просунул в окно руку и забрал груши.

Затем он снова открыл дверь, поднял стекло, запер дверь на ключ, еще раз обошел машину, как это делают опытные шоферы, и отправился дальше пешком.

Неожиданное приключение вызвало у него небольшое раздражение, но, когда показался поворот, раздражение прошло, и бодрое настроение вернулось. Отсюда дорога для машин уходила направо, опоясывая склон и постепенно спускаясь в долину.

Над дорогой был лес, скрывавший от глаз вершину горы, где должен был стоять дом Анаподистэ Буадзе.

Человек с корзиной сказал, что, дойдя до поворота, надо сойти с дороги и подниматься вверх.

«Где-то должна быть тропинка», — подумал Луарсаб и внимательно поглядел на кромку леса. Скоро он и в самом деле увидел тропинку, которая, извиваясь, змейкою ползла в гору.

Тропинка оказалась заросшей и темной. Луарсаб с трудом различал дорогу. Местами ветви деревьев росли так низко и так плотно переплетались друг с другом, что Луарсабу приходилось пробираться под этими естественными сводами чуть ли не ползком, склоняя голову до самой земли.

Так он шел довольно долго. Потом лес как-то вдруг поредел и на тропинке стало светлее.

Вскоре показался и дом. Трудно сказать определенно, какое название больше подходило этому жилищу: дом, лачуга, хибара или сарай... Маленькая, наспех сколоченная из грубых, неструганных досок клетушка на низких сваях была крыта старой, как видно, побывавшей в употреблении дранкой. На нижнюю сторону выходило узенькое окошко. Справа был виден угол балкона. Перил на балконе не было. Дом стоял посреди небольшой поляны. Ветерок колыхал траву, и из нее подмигивали полевые цветы, словно поляна глядела на пришельца множеством разноцветных глаз.

Луарсаб, следуя направлению тропинки, обошел дом слева. С верхней стороны дом имел еще одно узкое окошко. Двери видно не было.

«Должно быть, вход с балкона», — решил Луарсаб, и оказался прав.

На балкон выходила одностворчатая дверь.

Хозяин встретил его на балконе. Он сидел на маленьком табурете с тремя ножками и, скрестив руки на груди, неподвижно созерцал окрестности.

Окрестности же отсюда и впрямь представляли собою великолепное зрелище.

Поляна упиралась в крутой спуск, заросший высокими буками, вязами и каштанами. Могучий, стрелою вытянувшийся вверх лес стоял, словно войско. Землю покрывал толстый ковер из уже начавших желтеть листьев. Вдали, за лесом, протекающая меж двух гор река серебрилась на солнце. За рекою виднелись густые заросли елей и сосен, которые выше вновь сменялись могучим лиственным лесом.

Воздух был чист и прозрачен, как хрусталь.

Анаподистэ Буадзе не слышал, как подошел Луарсаб. Он сидел без движения и был так поглощен простиравшейся перед взором красотой, словно завтра его могли лишить возможности любоваться ею.

Поскольку хозяин не собирался прерывать свои раздумья, Луарсабу опять пришлось первому нарушить молчание. Так он и собирался поступить, однако в последний момент внезапно раздумал, причем у него возникло такое ощущение, словно раздумал он не по собственной воле, а по воле некоей чуждой силы, которая, промчавшись, словно магнитом притянула к себе его намерение, и исчезла.

В углу балкона стоял еще один трехногий табурет, точно такой же, как тот, на котором восседал Анаподистэ Буадзе. Луарсаб положил на этот табурет груши, а сам уселся на пол, вытянув ноги, прислонившись спиной к стене комнаты и уподобившись прямому углу, против которого простирается неведомая красота.

Теперь, если взглянуть с высоты, то можно было увидеть возвышавшуюся между двух гор третью, поросшую густым, могучим лесом гору с голой вершиной. Эта голая вершина представляла собою пестреющую множеством цветов пологую поляну, где на четырех сваях держался маленький дощатый домик. С восточной стороны к нему лепился балкон, узенький балкон без перил, выстланный неоструганными досками. На балконе, словно надувшиеся друг на друга дети, молча, каждый сам по себе, сидели двое мужчин, которым сегодня исполнилось по шестьдесят лет. Один сидел на трехногом табурете у края балкона, скрестив руки на груди, и без единого движения любовался многообразием мира. Другой сидел на полу в углу балко-

Джемал Карчхадзе. День один.

на, рядом с точно таким же табуретом, вытянув ноги и прислонившись прямой спиной к стене.

Миром правила красота, а тишина была ее хранительницей, она словно оберегала красоту от какой-то невидимой опасности.

Вначале Луарсаб чувствовал себя несколько неловко в таком странном положении, когда визит в гости не укладывался в рамки собственного понятия, но вскоре предал это обстоятельство забвению, ибо расстилавшийся по склону лес своею непостижимой, загадочной красотой распространял живительное дыхание каких-то дремлющих воспоминаний, далеких и туманных. Огромные деревья, словно прикрыв руками глаза от света, с любопытством вглядывались в Луарсаба Размадзе, наконец узнали и улыбнулись ему. Лес двинулся и пошел навстречу. Лес широкими шагами буков и вязов одолел подъем, беспрепятственно проник в существо Луарсаба и оставил там незнакомый запах жизни. За лесом следовала река, местами быстрая и пенящаяся, местами — спокойная и сверкающая, но всегда и повсюду несущая приятную прохладу и ласку. По дну, покрытому мелкими камушками, медленно, словно одеревенев, проплывали рыбы, потом, будто вспомнив о чем-то и вильнув хвостом, проносились мимо с такой быстротою, что на их пути ничего нельзя было различить, кроме серебристого блеска. Заросли елей и сосен, следовавшие за рекой, вошли с достоинством, внеся с собою нежный аромат. Наконец двинулась и гора, возвышавшаяся по ту сторону ущелья. Впереди шествовали заросли орешника и папоротника, в которых мелькали глазки малины и ежевики. Потом пошел склон, покрытый гордым листовенным лесом, — грабы, клены, вязы, буки. Вот приблизилась и вершина. На вершине одиноко стоял дуб-великан, могучий, крепкий, упрямый, с мощною кроной, сочными листьями, толстым стволом. Землю покрывала густая трава. Под дуновением ветерка трава колыхалась, как спелая пшеница, и переливалась всеми оттенками зеленого цвета. Листья осыпались на траву. Луарсаб лежал навзничь под сенью дуба. Сквозь густую крону то и дело проглядывали синие глаза глубокого, спокойного, лучистого неба. Царившая кругом тишина была неотъемлемою частью

покою, и покой в самом себе достигал совершенства. Здесь, должно быть, проходила черта жизни.

И тут Анаподистэ Буадзе прервал молчание.

— Следующим шагом станет упорядочение нравственного хаоса, добро отделится от зла и воплотится в независимую сущность.

— Поздравляю вас с днем рождения, — сказал Луарсаб, взял с трехногого табурета одну грушу и встал. — Отведайте грушу.

Анаподистэ Буадзе тоже встал и принял грушу.

— Благодарю вас.

— А вторая — мне. У меня ведь тоже день рождения.

— Вкусная груша, — сказал Анаподистэ Буадзе.

— Это меня один крестьянин в деревне угостил.

— Где у вас испортилась машина?

— Тут, неподалеку.

И осекся.

Медленно, в неприятном ожидании непонятной опасности, Луарсаб повернул голову. Хозяин увлеченно ел грушу.

Холодок мелкой, тревожной рябью, словно ток, пробежал по телу.

Анаподистэ Буадзе, покончив с грушей, размахнулся, запустил огрызок вниз, в лес, и сказал:

— Я слышал, как остановилась машина и как ее не смогли больше завести. Откуда мне было знать, что это именно вы!

Луарсаб тоже доел свою грушу и колебался, стоит ли последовать примеру хозяина. Некоторое время он смущенно вертел огрызок в руке; наконец, не найдя более подходящего места, тоже швырнул его в лес. Только, в отличие от Анаподистэ Буадзе, он махнул рукою не сверху вниз, а снизу вверх. Огрызок груши списал в воздухе высокую дугу и упал на пригорок, туда, где оканчивалась поляна и начинался обрыв.

— Из вашего двора тоже прекрасный вид, — сказал хозяин. — Но там поблизости живут люди, и в воздухе постоянно носится человеческое дыхание. Поэтому необходимо уединение.

— Какой толк в уединении? — Луарсаб чувствовал,

что его что-то раздражает и вызывает в нем слепое желание возражать.

— Ощущению своего ничтожества человек, как правило, ничего не может противопоставить, — ответил Анаподистэ Буадзе, — потому что противопоставить ему нечего, за исключением нравственности.

То, что раздражало Луарсаба, вцепилось в маленькое свинцового цвета облачко, которое возникло у самого горизонта, росло прямо на глазах и было похоже на медузу. Свинцовое облако походило на медузу не формой, а своею взаимосвязью с Луарсабом. А это казалось странным и почему-то очень обидным, и внезапно непонятная тоска тяжелым грузом навалилась на сердце.

— По-вашему, мною овладело чувство собственного ничтожества и мне нечего ему противопоставить, поскольку я не обладаю достаточной нравственностью?

— По-моему? — едва заметно удивился Анаподистэ Буадзе. — А разве это не ваша идея, что человек потому и рождается, что ему недостает нравственности?

Луарсабу показалось, что он вздрогнул и резко повернулся лицом к хозяину, тогда как в действительности он даже не шелохнулся.

— Ощущение собственного ничтожества — маска, которой мы неосознанно прикрываемся, чтобы скрыть от мира свое бессилие, — Анаподистэ Буадзе разговаривал с ним так, как гончар с гончаром говорит о глине или художник с художником — о красках, однако нить его рассуждений постоянно ускользала от Луарсаба, и от этого у него было такое чувство, словно он в непроглядной тьме бредет по краю обрыва. — Бывают минуты, когда человек теряет всякие мерки, лишается всех опор. В такие минуты невольно пытаешься навязать свое бессилие всему миру и пытаешься спрятаться в его воображаемом ничтожестве. — Хозяин взял Луарсаба под руку. — Даже пригласив вас в дом, я ничем не смогу вас угостить. Поэтому будет лучше, если мы погуляем в лесу. Я покажу вам один прекрасный родник. — Затем, когда они спустились во двор и пересекли наискосок цветущую поляну, он продолжал: — Собственно говоря, ваше бессилие моему бессилию ничем помочь не может, однако иного утешения у эгоизма нет. — Здесь, наверно, поляну со-

едняла с лесом узкая тропинка. — Вскоре наступит время великого выбора, но, чтобы сделать выбор, необходимо одиночество. — Лес полого спускался вправо. Тропинка шла через лес, словно трещина. — Человеку кажется, что он страдает от одиночества, на самом же деле он страдает от невозможности одиночества. Он страдает потому, что неспособен на отчуждение от тех, кого считает чужими, потому, что не может отдалиться от тех, с кем его разделяет пропасть, не в силах убежать от тех, от кого стремится прочь. Его то и дело дергают за бесчисленные невидимые ниточки, связывающие его с окружающими, и не дают забыть о тех, кто на другом конце. Ведь если раздобыть такие ножницы, которыми можно перерезать эти ниточки, тогда и вправду останешься один, и весь мир будет в тебе, и во всем мире будешь только ты, и целым миром будешь ты сам, и поймешь, что эгоизм лишен смысла, что честолюбие лишено смысла, что зависть лишена смысла. А вот и наш родник!

Тропинка, которая до сих пор вела вниз, пересекала в этом месте узкий овражек и начинала подниматься по склону. Чуть левее, над самой тропинкою, из расщелины в скале выбивалась струйка воды, образуя крошечный водопадик. Там, где расщелина немного расширялась, был проложен деревянный желоб. Большая часть воды собиралась в этом желобе и струйкой не толще мизинца переливалась в небольшое углубление, огороженное камнями. Переполняя этот резервуар, вода ручейком устремлялась по узкому, заросшему кустарником оврагу, прямою темной линией разделявшему два склона, и где-то внизу, очень далеко, где горы чуть раздвигались, соединялась с лучами света.

Анаподистэ Буадзе устроился у самого родника и пригласил Луарсаба:

— Присаживайтесь.

Они сидели так, что узкое русло ручейка казалось продолжением их взглядов. Далеко, в конце этого русла, простиралось обширное, безбрежное море света, которое слегка вдавалось в ущелье, как вдается обычное море в устье реки.

Влажная прохлада была приятна телу.

— Близ этого родника мне всегда приходит на ум слово «провидение», — нарушил довольно продолжительное молчание Анаподистэ Буадзе.

— Давеча во сне, — Луарсаб заметил, что говорит тише и медленнее обыкновенного, — когда вы предстали передо мною в роли Президента Академии, вдобавок с приклеенной бородой, из круглого окошка виднелась белая церковь, которая вызвала у меня непреодолимую тоску пустоты.

— Просто удивительно. Все понимают «провидение» неверно. Стоит заговорить о нем, как все почему-то вспоминают про бога. Ведь провидение — это вовсе не тот, кто вершит судьбами. Однако и не тот, чьей судьбою вершат. Провидение есть некий посредник между вершителем и подвластными ему судьбами, это универсальный закон, установленный для того, чтобы вершитель судеб осуществлял свою задачу, пограничная черта, где происходит слияние и размежевание материализма и идеализма. Затем этот закон законов разбивается на мелкие правила и постепенно снижается, чтобы сделаться доступным пониманию ньютонов и кеплеров.

Кленовый лист сорвался с дерева и, кружась, опустился в ручеек. Ручеек завертел лист и унес его с собою. Перетащив его через камень и выйдя на более ровное место, он загнал лист в маленькую бухточку, подтолкнул к берегу и выбросил на то место, где таким способом уже было собрано несколько листьев. Когда кленовый лист достиг берега и замер, Луарсаб спросил:

— И все-таки, почему вы прислали мне это письмо? Анаподистэ Буадзе сделал небольшую паузу.

— Пошли я его кому-нибудь другому, я все равно не избежал бы подобного вопроса, верно?

— Вы послали его мне случайно?

— Я-то послал его случайно, но вы, наверное, неслучайно его получили.

— И конечно, ждете, что я укажу вам на логическую неувязку в том, что вы сказали.

Анаподистэ Буадзе медленно повернулся к Луарсабу и чуть заметно улыбнулся. Затем, смочив левую руку в роднике, провел ею по лбу.

— Бог вас раздражает, а между тем разум вы обожествляете. Это весьма распространенная болезнь.

— Меня раздражает не бог, а люди, которые во всем полагаются на бога. Для меня разум — единственная реальная сила.

— Бесконечность встает на пути этой силы непреодолимым препятствием. Вообразите себе некое разумное существо из другой цивилизации, оказавшееся на Земле и зашедшее в непроглядной ночи маленький мерцающий огонек, находящийся в центре слабо освещенного окна. Это разумное существо придумает не одно логическое объяснение этому явлению, но ни за что не догадается, что там попросту стоит дом, ибо понятие дома ему чуждо. Я готов вместе с вами воспеть разум и воздвигнуть ему памятник. Но прежде, чем воздвигнуть памятник, необходимо позаботиться о постаменте, чтобы наш памятник не повис в воздухе. А постаментом для разума является нравственность. Нравственность и стала причиной нашей сегодняшней встречи. Вы предпочитаете рассуждать о разуме, потому что неосознанно стремитесь отодвинуть разговор о нравственности как можно дальше. Наивное стремление. До каких пор вы намерены его отодвигать? Куда вы спрячетесь от него? Вы можете спрятаться от меня, вашего брата, вашего соседа. Но как спрятаться от глаз, которые видят все? Такие глаза существуют. Существуют, поверьте. Бывает, что внезапно в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте почувствуешь на себе чей-то взгляд. словно кто-то не сводит с тебя глаз. Закроешь глаза — он смотрит, спрячешься в кусты — смотрит, залезешь под одеяло — смотрит, в самую преисподнюю заберешься — а он и там на тебя смотрит. Кто-то постоянно наблюдает за тобою, перед кем-то ты все время как на ладони. Если вам еще не приходилось, то непременно придется хотя бы однажды испытать такое чувство, словно перед вами, как книжку с картинками, перелистывают всю вашу жизнь, и тогда вы ужаснетесь. Выяснится, что всю жизнь вы с деловым видом восседали за столом тщеты и суетливо утоляли голод честолюбия. И при этом забывали о главном смысле, теряли главный нерв. Энергию души тратили впустую. Человек может быть либо повелителем, либо лакеем, но не может быть од-

новременно и повелителем, и лакеем. Мы так и не сумели этого постичь. «Мы талантливы», — утверждаем мы, и если удастся как-нибудь убедить в этом самих себя, радости нашей нет предела. А то, что талант не сущность, но лишь проявление, нас нимало не печалит. Честолюбие — рассадник всех пороков. Зависть, вражда, ненависть — все это его детища. Человек, который сумеет совершенно победить в себе честолюбие, обретет бога в самом себе. Притягательная сила мелочей слишком велика, это правда, и для того, чтобы поступиться честолюбием, нужно выдержать тяжелую борьбу против самого себя, но, поверьте, такая борьба оправданна. Потому что награда несоизмеримо больше. К несчастью, человек все еще подвержен честолюбию и борется против свободы. Из множества примеров мы рассмотрим только один, с которым вы лучше всего знакомы. Это жизнь Луарсаба Размадзе. Здесь, в этом дремучем и тихом лесу, вы находитесь наедине с собою. Так что бояться нечего. Было время, когда Луарсаб Размадзе стремился глядеть вглубь и видеть за предметами их сущность. Тогда он еще не ведал о честолюбии, которое гнездилось в его душе и ожидало своей весны, чтобы, подобно сорной траве, прорасти и заполнить все вокруг. И вот, исполненный надежд и устремлений, Луарсаб повстречал Елену. Молодые люди полюбили друг друга. И вовсе не потому, что Елену пленила внешность Луарсаба, а Луарсаб пленился красотой Елены. Ибо наружность полюбить нельзя. Елена была полевым цветком, выросшим в теплице; она жаждала свободы, всем своим существом ощущая, как зовут ее солнце и простор. Именно эту свободу она увидела в Луарсабе и потому полюбила его. Луарсаб же, в свою очередь, полюбил Елену потому, что в нем жило неосознанное стремление подарить свободу полювому цветку, заточенному в теплице. Все это звучит весьма поэтично. Прозаическим в этой истории было то, что в результате их соединения потерялось главное, ради чего это соединение произошло. Была утрачена свобода. Вместо того, чтобы переселить полевой цветок из теплицы на волю, свобода сама поселилась в теплице. Честолюбие создало Петрэ Большого в качестве намеченной цели и тестя Калистратэ в качестве орудия достижения этой цели. Мелочи заполнили собою все. И

любовь, молодой побег свободы, погибла вместе с нею. На Дуарсабу Размадзе кажется, что он этого не знает. На самом же деле знает, но боится признаться в этом даже самому себе, потому что решиться на такое признание значит одним махом разрушить все, что тобою построено, и на месте прожитых шестидесяти лет воцарится зияющая пустота. Самообман кормится собственной ложью. А от высокой любви осталась только тень, только воспоминание, только сговор, молчаливый, возникший сам собою сговор между Дуарсабом и Еленой, целью которого было скрыть от всех — от самих себя, от детей, от соседей, — словом, от всех без исключения, что любовь угасла вместе со свободой, подобно лампе, в которой иссяк керосин. Таков краткий анализ жизни Дуарсаба Размадзе. И это только один пример, быть может, особенно вопиющий по сравнению с другими, но все-таки лишь один из множества.

Анаподистэ Буадзе умолк. И только сейчас Дуарсаб Размадзе заметил, какой у него неприятный, гортанный голос. Вдобавок этот голос звучал монотонно и надоедливо, словно стук осеннего дождя по оконному стеклу. Когда же эта гортанная монотонность прервалась, тело приятно расслабилось, и он почувствовал облегчение.

Однако это облегчение свел на нет тесть Калистратэ.

Тесть Калистратэ делал свое дело, и никакого злого умысла у него не было. Он жил так, как ему жилось. А Дуарсаб попросту оказался податлив, вот его и увлекли за собою. Он как бы случайно пристал по пути, как прилипает мокрый лист к грязной подошве... Надо быть совсем уж крохотным, чтобы позволить себя задавить такой лавине.

Внезапно Дуарсаба с поразительной силою обожгла страшная тоска по Елене. Тоска проникла в него, как молния, с молниеносной быстротою овладела всем его существом, которое как-то сжалось и оказалось опутанным ею. Дуарсаб созерцал эту воплотившуюся в едином порыве его существа тоску и с безгранично сладкою болью мечтал о Елене, ибо только близость Елены могла спасти от непонятной, странным образом заволаживающей опасности, которая была неудержи-

мой и неотвратимой, как если бы небо обрушилось на землю.

— Петрэ Большой тоже делает свое дело, — сказал Анаподистэ Буадзе. — Он добывает пропитание своему честолюбию, и винить его не за что. Других вообще не за что винить, потому что преступление, кара и палач — это только три ипостаси одной и той же сути.

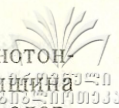
Луарсаб посмотрел на Анаподистэ Буадзе и с удивлением обнаружил, что до сих пор не замечал внешности этого человека, подобно тому, как до недавнего времени не обращал внимания на его голос. Он пригляделся. Перед ним был сухопарый мужчина небольшого роста. У него было продолговатое костлявое лицо, рельефные скулы, глубоко посаженные глаза цвета меда и выдающийся вперед, энергичный подбородок. Борода с проседью словно сводила черты его лица воедино и придавала ему спокойное и мягкое выражение. На изрядно помятые брюки сурового холста была выпущена подпоясанная ремешком белая полотняная рубаха. Ноги были обуты в спортивные туфли без каблучков.

Луарсаб поджал ноги, уперся в них руками и устремил взор в дальний конец оврага, где мерцал свет.

Трудно сказать, сколько времени длилось молчание.

— Сегодня я говорил по телефону с Петрэ Большим, — наконец заговорил Луарсаб. Он говорил медленно и тихо, почти шепотом, но с какой-то раздражающей ясностью слышал собственный голос. — Петрэ Большой пофыркивал, словно лев, а я мяукал, как котенок. У Петрэ Большого тонкий, почти женский голос. И своим тонким голоском он ухитрялся издавать львиный рык, а я, с моим-то баритоном, мяукал, как котенок... Я отрекся от самого себя; вместо того, чтобы стать замечательным ученым, предпочел быть ученым заметным. Я изнеженно погрузился в иллюзию и всю жизнь пытался уверить себя, что эта иллюзия бесконечна. Но... неужели Елена тоже?.. — Луарсаб медленно, тяжело поднял голову и встретился взглядом с Анаподистэ Буадзе. — Неужели Елена тоже?..

— Елена тоже, — тихо присизнес Анаподистэ Буадзе, и голос его прозвучал менее гортанно. — Вы здесь наедине с собою, не забывайте.



Воцарилась тишина. Нарушало ее только монотонное журчание воды. Через некоторое время тишина поглотила и этот звук, и тогда Луарсаб задумчиво, словно задавая этот вопрос самому себе, сказал:

— Где же тогда человек?

Анаподистэ Буадзе скрестил руки на груди и устремил взор вдоль оврага.

— Человек — это бог, но у него грязные ноги. Когда окажешься один в горах, ночью, и над головою будет сиять звездное небо, на память вдруг придет абзац из какого-нибудь пособия по астрономии, где говорится, что звезда, на которую ты сейчас смотришь, давным-давно прекратила свое существование. На мгновение сухое содержание этого абзаца оторвется от своего научного основания и обретет истинный смысл. Внезапно понимаешь, что то, что светит, светит не только в пространстве, но и во времени. И тут с быстротою, в тысячу раз превосходящей быстроту молнии, вспыхнет и погаснет какое-то странное и всеобъемлющее чувство. Осознать его не успеешь, названия никакого не придумаешь, никакого определения не подыщешь. Ясно будет только одно: в твоём бытии сверкнуло и промелькнуло какое-то иное бытие.

— И что же? Это и есть человек?

— Именно. Человек — это яма, наполненная дождевой водой. Порывы ветра волнуют лужу, и мутная вода становится еще более мутной. И сама яма ничего не видит сквозь завесу этой мутной, грязной воды. Но порою, быть может, лишь однажды, налетает не ветер, а ураган, который взметает эту замутненную воду и словно рассекает лужу надвое, прижимая воду к стенкам ямы, и прежде, чем вода вернется на свое место и поверхность лужи сомкнется вновь, яма успеет увидеть, небо и стать на миг тем, чем была до того, как пошел дождь.

Затем опять наступило долгое молчание. Луарсаб сидел в траве, поджав под себя ноги и упершись в них руками. Анаподистэ Буадзе стоял, скрестив руки на груди. Оба молчали, задумчиво глядя вдаль, туда, где кончалось ущелье и виднелась узкая полоска света, малая частичка великого света, вдававшаяся в ущелье,

как море вдается в устье реки. Молчал и лес. Даже птицы молчали, и только вода, вытекавшая из расщелины в скале, с веселым журчанием падала в огороженное камнями маленькое углубление.

Когда тишина достигла предела, Луарсаб поднялся на ноги.

— Пожалуй, мне пора возвращаться домой.

Сказав это, Луарсаб почувствовал необъяснимое и непонятное облегчение во всем теле, и плотная масса, подобная присохшей грязи, перестала давить на жилы.

— Отведайте прежде воды. Такой воды вы больше нигде не найдете.

Анаподистэ Буадзе сполоснул руки, опустился на одно колено, подставил горсть под желоб и большими глотками выпил воду. Потом он поднялся, отер рукою блестящие в бороде капли и повернулся к Луарсабу:

— Ваша очередь.

Луарсаб в точности повторил все его движения: сполоснул руки, опустился на одно колено, подставил горсть под желоб и большими глотками выпил воду. Вода действительно была превосходна — холодная и вкусная. Напившись вволю, Луарсаб встал и рукою отер капли воды с подбородка.

Они молча прошли через лес и вышли на поляну.

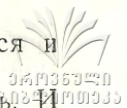
— За машиной я пришлю Алекси-Але, — сказал Луарсаб. — По-моему, через лес должна вести короткая дорога, верно?

— Да. Прекрасная тропинка. Дойдете до деревни минут за двадцать. Идемте, я покажу.

Они пошли вверх и оказались на вершине горы. Даже маленький домик Анаподистэ Буадзе находился ниже. Обе деревни, по обе стороны горы, были видны как на ладони. Внизу, на равнине, виднелось еще несколько деревушек. В расстилавшемся просторе дома сгрудились и, словно страдая от холода, жались друг к другу.

— Вот ваша тропинка, — показал Анаподистэ Буадзе, — она выведет вас прямо на мельницу, к висячему мосту.

— Спасибо, — ответил Луарсаб. — Прощайте.



— Прощайте, — Анаподистэ Буадзе повернулся и направился вниз, к своему домику.

Внезапно по телу Луарсаба пробежала дрожь. И прежде, чем осмыслить причину этой дрожи, он обернулся и крикнул:

— А если с нас ни за что не спросится?

Анаподистэ Буадзе остановился и повернулся к нему. Некоторое время он молча глядел на Луарсаба и наконец сказал:

— Тогда мы погибнем.

И ушел.

На мгновение, должно быть, по привычке, Луарсаба кольнула горечь разлуки. Потом он пошел по тропинке, идти по которой было вовсе не так трудно, как казалось сверху, и скоро очутился в дремучем лесу.

Тропинка была узкой, а лес — надменным и таинственным.

Лес носил страшное название — «Медвежий».

«Медведей перебили. От них, наверное, только название и осталось».

Впереди что-то зашуршало. Луарсаб остановился и прислушался.

«Должно быть, заяц. Или лисица. Медведь ведет себя иначе».

Он понял, что в сердце закрался страх, немного постыдный, немного смешной, но совершенно естественный и неизбежный.

Он успокоился и пошел дальше.

Когда он достиг середины леса, внезапно опустились сумерки.

Он остановился и поглядел на небо. Сквозь густые кроны высоких деревьев виднелись лишь какие-то клочки неба.

«Однако до вечера далековато», — подумал он и правой рукою инстинктивно потрогал часы, вспомнив тут же, что его часы потеряли счет времени.

Сумерки сгущались.

Быть может, собирается дождь? Неба почти не видно... Неужели действительно наступила ночь?..

Гости понемногу съезжаются. Стол ломится от еды. Наполняются бокалы. Нет, говорит Петрэ Большой и

требуется подать рог. За Луарсаба, друзья! Будь здоров, мой дорогой... Где же Луарсаб?

Луарсаб в лесу. В лесу темно. И в темноте — узкая тропинка.

Луарсаб с трудом различает дорогу.

Вдруг он останавливается. Ледяное дыхание стеною преграждает ему путь.

Все вокруг замерло. Все звуки в мире исчезли, движение прекратилось. На миг все живое застыло в своем изначальном положении.

Анаподистэ Буадзе, скрестив руки на груди, сидит на трехногом табурете. Крестьянин с корзиною за плечами идет по деревенской улице. Старый Алистрахо покоится посреди комнаты. Сардион с Василием роют могилу. Иакинте и маленький Коста бредут за своими быками. Петрэ Большой сидит в просторном кабинете. Прочие Петрэ съезжились и замерли каждый в своем углу. Алекси-Але спит. Лариса распрямилась до предела и поблескивает стеклами очков. Елена стоит на пороге кухни и в ожидании глядит куда-то.

А этот стоит в стене ледяного дыхания, вытаращив глаза от любопытства, раскорячившись и растопырив руки так, словно исполняет какой-то дикарский танец.

До сих пор Луарсабу казалось, что он никогда не думал о его внешности. Оказывается, все-таки думал. И даже создал в собственном воображении его образ. И теперь глядит с удивлением, потому что реальность совершенно не похожа на образ, созданный в воображении.

Он шевельнулся, и вместе с ним шевельнулась стена ледяного дыхания.

Растопыренные конечности качнулись сначала в одну сторону, потом в другую. Вместе с ними качнулась в обе стороны и стена.

Потом он снова замер, еще больше вытаращил глаза и тонким голоском пропищал:

— Или ты меня вези, или я тебя!

ДВА ЭТЮДА

КРАПИВНИК

ВОДИТСЯ в нашем горном краю самая маленькая и невзрачная пташка по прозванию крапивник. Природа не дала ей ни сильного крыла, ни нарядного убора. Но одарила ее взамен самым жизнерадостным и веселым нравом... Правда, по натуре своей крапивник очень скрытен, но непоседлив — минуты не может усидеть спокойно. Грязновато-бурым комочком, скорее напоминающим полевку, с необыкновенным проворством пробирается он сквозь валежник, заросли колючих кустов и сплетения обнаженных корней; отчаянно скачет по отвесным скалам, устремляясь в едва заметные щели и пустоты.

— Чек! Чек! Чек! — возмущенно кивая головкой, отрывисто затрещит он на незваного гостя, вторгшегося в заповедные его владения. Не побоится он и великана-человека. Ну а если тот станет подступать ближе, то, быстро оценив неравность сил, шмыгнет крапивник в укромные заросли и на время замрет...

Есть у крапивника задушевная соседка, визиты которой ему явно по вкусу. Сам обладая чудесным голоском, он, как видно, почитает таланты и других птиц. Будто зачарованный, глядит он порой на изящные танцы трясогузки, тоненькими балетными лапками семенящей взад и вперед вдоль берега ручья. И во всякое время великодушно позволяет ей кормиться на своих законных угодьях.

Сила обаяния сизой балерины так велика, что крапивник нередко отваживается подлетать совсем близко, для вида поклевывая по отмели всякую мелюзгу.

...Раннею весною, едва только загорятся в расщелинах скал груды сиреневого первоцвета и сойдет в низинах снег, как охватит крапивника неумный жар строительства. Принимаясь вить гнездо, пускает он в ход как раз тот материал, который изобилует в облюбованном месте. Если, к примеру, вокруг мшистые кочки, то и гнездо будет свито из теплого мха. Ну, а как позаросло все папоротником, будет выложено жильё сухим листом этого растения. Потому и заметить его очень трудно.

Свив одно шаровидное гнездо с ловким боковым летком, приступает пламенный строитель ко второму, доводя порой число спальных покоев до четырех, а то и до семи! Но не пустое тщеславие движет крапивником — оно чуждо птицам, — а лишь здравый смысл. Ведь на свое крыло у крапивника надежды очень мало. А достигни его во время облета своих пределов внезапная опасность, так всегда окажется под рукой надежное убежище.

Наконец строительство — правда, с некоторыми недоделками, — завершено. И вот, в один счастливый день, очарованная страстным романсом нашего сердцеда, прилетает самка. Водворившись в одно из гнезд, приступает она, как и водится у порядочной хозяйки, к наведению домашнего уюта — выстилает внутренность покоя пушистой перинкой из перьев. А спустя малое время откладывает шесть-семь белых в алую икру яиц. Без малого две недели будет исправно насиживать их самка, отлучаясь разве что на минутку — перехватить на скорую руку всякой мелюзги.

А опьяненный весенней любовью самец все еще продолжает звонко петь, порхая по своим угольям. В эту пору, случается, услышит его залетная невеста, по молодости или чрезмерной разборчивости не успевшая еще прельстить жениха. В чаду медового месяца наш молодец, недолго думая, приютит ее в одном из свободных гнезд. Не оставаться же ей, в самом деле, в старых девах... Но не дай бог ненароком застанет их вдвоем законная супруга. Задаст она хорошей трепки юной красотке, перепадет и ее ветренику за шашни.

«Ах, все вы, самцы, одного покроя», — в сердцах вздохнет она наконец и, махнув крылом, помчится добывать корм дорогим деткам.

Проходит время, и увлеченная воспитанием самка



уже почти не замечает своей соперницы. Воцаряется мир. Что делать, таков закон рода крапивников, учрежденный природой во имя потомства.

Тем временем самец, раздирающийся между двумя семьями, с равной любовью и заботой растит своих разновозрастных малышей. Когда же сравняется слеткам 15 дней, покинут они родной кров. Но в сумерки еще не раз воротятся к родителям, у которых всегда найдется чего-нибудь вкусненького для сорванцов. А там и бай-бай, на родной перинке, как в улетевшие дни детства.

...Урвав свободный денек, подался я как-то в окрестные горы.

По зимнему небу струятся сизые облака. А на востоке, над острым изломом снежных скал, уже сияет золотой нимб поднимающейся зари. Мерно похрустывая мерзлой травой, добрел я до знакомого ущелья. Скрываясь в ледяных узорах, без песен течет горный ручей, огибая поникшие кусты седого гребенщика да голой ежевики. По бархатно-зеленым мхам скалистых уступов стеклянными гирляндами застыли натеки влаги.

И вдруг посреди ледяной оцепенелости горного ущелья мелким серебристым позвоноком забил невидимый колокольчик. Потом последовало нетерпеливое «Тиу! Тиу! Тиу!», и звенит уже другой созвучный колокольчик, а там и третий, складываясь в искусно подобранный чудесный ряд. Это, взмолившись на куст заиндевелой крушины, раздувая горлышко, поет наш крошечный крапивник.

Уже алмазными гранями загорелись льды от луча зари, доставшего ущелья, а я все стою недвижно на месте, боясь потревожить певца. И мнится мне, что, словно по волшебному мановению, сходят снега со скал, а из зеленого мха под сенью крушины поднимают головки синеглазые незабудки... расправляет белые лепестки влажная земляника...

— ...Порой и невзрачная песчинка может оказаться жемчугом, как взглядеться в нее поострее, — прошептал я себе, очнувшись от чар.

...Давно метили торгаши - птицеловы залучить зимнего певца в свои унылые, душные клетки. Но ничего

из этого не выходило: он умирал в немой тоске по родному ручью, по вольным скалам...

Немало еще и других чудес скрыто в наших горах, но услышит их лишь тот, чье сердце дышит любовью к природе.

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ УЛАРОВ!

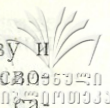
ВЫСОКО в подоблачных горах Кавкасиони гнездятся горные куры — улары. Приверженные к скалистым кручам, безлюдным ущельям и кремнистым осыпям, не страшатся они суровых и долгих горных зим с их ледяными ветрами, крутыми морозами и дымящимися лавинами, несущими смерть...

...Долго бродила молодая горная курочка среди нагромождений камней, исторгнутых некогда вулканом из земной груди. Настороженно заглядывала в расщелины, потом на мгновение замирала, как бы чутко к чему-то прислушиваясь, и снова, перебирая лапками, продолжала путь.

Наконец облюбовала она небольшую каменную нишу, глядевшую на восток, с обзором щебнистого ската, чтоб на случай приметить всякую живую душу, подступающую к гнезду. И принялась за дело. Хворостинка за хворостинкой выстилала она нехитрое ложе для будущего потомства. К концу же пустила в ход сухой лист, пух, вырванный из собственного тела, да клочок шерсти, оброненный диким козлом. И вот появилось в гнезде пять крапчато-голубых яиц. Без малого месяц прилежно насиживала их самка, почти не сходя с места.

Ее ветреный супруг давно подался в потаенные ущелья, где вместе с другими петухами он сменит свой старый наряд.

Когда же наконец зашевелились и пообсохли под белым зобом пушистые серые комочки, полетела самка к мягко зеленеющему неподалеку раздолу. И опустившись среди осколков базальта, заросших синим змееголовником да дикой геранью, заметила фиолетовые кисти мышиного горошка, кудряво вьющегося по травам.



Пугливо оглядевшись по сторонам, вытянула голову и стала щипать сочные молодые листья и побеги для своих цыплят. По лоснящейся на солнце нити перед самым носом вдруг пробежал паучок. Потом озабоченно остановившись, стал подправлять ловчие сети, сотрясая снизанные росинки. С треском поднялся неподалеку встревоженный кузнечик, обнажив на миг голубой атлас крыльев и, шлепнувшись на бочок, скрылся в траве. Ярый вегетарианец, во всю жизнь не обидит улар ни единой живой твари.

...Над черной вершиной Фидар серебряной каймою сияло неподвижное облако. Слева и справа от горы ударили синие столбы невидимого светила, гигантскими желтыми пятнами ложась на пологий скат далекого ущелья.

Встрепенулась от света самка улара и хотела было уже лететь за едою для выводка, как вдруг уловило чуткое ухо птицы в утренней тишине звон скользящего под чьей-то ногою камня. Замерла. Шум шагов становился все явственней. Смертельный ужас застыл в золотых глазах: из-за гигантского мшистого камня возник силуэт человека. Неумолимо приближался он к гнезду. Бешено заколотилось маленькое сердце, будто силясь выброситься из тесной груди. Но недвижно, словно окаменев, сидела на цыплятах птица. Уже несколько шагов отделяло охотника от гнезда, и тогда стремительно выпорхнула из щели самка и покатила вниз по крутому уклону, ероша перья и беспомощно хлопая по острым камням крыльями. Наконец, упав на дно ущелья, забила она как бы в предсмертных судорогах. В отчаянной попытке отвести охотника от гнезда играла она роль смертельно раненной птицы. Эту самую пронзительную и неподдельную роль в мире скорее похожую на безумную мольбу... Медленно опустилось в землю уже наведенное дуло. Потупился взгляд человека, как перед лицом живого укора. И не успели еще замереть шаги удалявшегося охотника, как кинулась самка к гнезду. Материнская радость залила сердце, когда увидела она целыми и невредимыми всех пятерых своих цыплят, в испуге сбившихся в один пу-

Борис Кокрашвили. Два этюда.

шистый комок. И тесно прижалась к ним ушибленной о камни грудью...

В постоянных заботах протекло несколько дней. Посреди цветущего лета завернули вдруг холода. Дохнуло с вечера ледяным северным ветром — случается здесь такое и в июле, — хищными порывами прохватывал он расселину и шарил когтистой лапой по каменным стенам. Низко гнулись по ветру нежные анемоны среди рассыпанных камней.

Зловещим оскалом чернели каменные клыки вокруг мертвой пасти вулкана. А далеко за ним голубой диадемой высились предгорья Кавкасиони, опущенные по вершинам свежим снегом.

Раздобыв в низине ягод брусники, калины да немного семян клевера, уже с новыми гостинцами спешила к малым неутомимая самка...

...Словно пулей навывлет сразило птицу, как увидела она пустое гнездо. Каменная куница, учуяв беззащитных цыплят, метнулась в расселину и сожрала всех до единого. С надломом зарыдала, закудаhtала птица, созывая птенцов. До самых сумерек тщетно искала она выводок, вдоль и поперек облетела скалистое ущелье. Наконец, отчаявшись, воротилась и села в опустевшее гнездо. Уже в холодном лунном свете словно ночные призраки, забелели перед нишей базальтовые истуканы, а она, оцепенев, все смотрела тупо перед собой. Ночь напролет, не смыкая глаз, сидела в гнезде.

С рассветом, чтобы не умереть с тоски, кинулась одинокая мать искать другую наседку. Только к полудню, обшарив все окрестные кручи, услышала она наконец из скалистого развала слабое квохтанье. Тонко засвистела и, получив привет, радостно вспорхнула в зияющую щель. В согласии с законом рода приняла ее в гнездо бывалая наседка. И оказались теперь четыре птенца под крылом двух самоотверженных самок. Пока одна с переливчатым свистом добывала корм для птенцов, другая неотступно стерегла их от хищника.

Прошло всего две недели, а птенцы увеличились почти вдвое. Теперь это были уже резвые и юркие полуслетки. Но вплоть до самых осенних утренников не улетали они от самок, нередко дружною семьею гуляя по ущелью. Многому научились они от матерей. Стоило только одной из самок завидеть бесшумно несущегося

ястреба-канюка, как по неуловимому знаку пропадал
весь выводок, будто сквозь землю проваливался.

...В осенней агонии уже зареял желтый лист горной
березы. Высоко за лесным рубежом, белесой лавой
разливаясь по изломам хребта, ползли змеи северных
туманов, и, казалось, что-то вкрадчиво шептали зача-
рованным вершинам.

Надвигалась зима.

С первыми снегами, сбиваясь в стаи, потянулись ула-
ры в бесконечные странствия по бесприютным снеж-
ным пустыням высокогорья тропами каменных козлов,
крепким копытом разрывающих глубокий снег в поис-
ках пищи. Знали, не отгонит их могучий тур от обна-
женной земли, в тяжкую пору даст и им поживиться.
Оттого спокон веку и ведут они дружбу, скитаясь по
мерзлым кручам.

Сильными и независимыми птицами примкнул четы-
ре молодых улара к кочующей стае. Детям подоблач-
ной родины, не страшны им будут ни злые стужи, ни
ураганные ветры, ни грозные лавины...

Придет срок. Напоенные талой водой, загорятся в
скалах груды влажно-желтого первоцвета. И в одной
из расселин заголубеет уже не пять, а целых семь яиц.
С еще большим упорством и самоотвержением будет
растить второй выводок опытная самка, чтобы и они,
вновь народившиеся птенцы, исполняя вечный закон,
несли свой чудесный, певучий свист в синие скалы Кав-
касиони.



Гурам БЕНАШВИЛИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

ДНИ

ДЕТСТВА

ИЗВЕСТНЫЙ французский писатель Марсель Швоб в своих записках развивает такую мысль: «Биографы полагают, — пишет он, — что нас может интересовать только жизнь великих людей. Искусству чужды эти сообщения. В глазах художника портрет неизвестного работы Кранаха так же ценен, как портрет Эразма. Эта картина неподражаема. Искусство биографа должно было бы состоять в том, чтобы придавать такую же ценность жизни безвестного актера, как и жизни Шекспира... Тому, кто захотел бы ступить на поприще, где с таким блеском подвизались Босуэлл и Обри, без сомнения, следовало бы не описывать во всех подробностях самого великого человека своего времени и не характеризовать самых знаменитых людей прошлого, а с такой же доскональностью рассказывать неповторимую жизнь безвестных людей, будь то люди, достойные преклонения, заурядные или преступные»¹.

Несмотря на всю эмоциональную притягательность

¹ Французские писатели о литературе. М., «Прогресс», 1972.

этого положения, в нем, возможно, утрирована внутренняя логика развития самой мысли. Жизнь безвестных людей не оставляет заметного следа, который дал бы импульс вдохновения писателя. Может ли писатель рассказать что-либо о ничем не примечательном человеке, не оставившем ничего о собственном существовании. Естественно, может, если этот человек был близок писателю, если ему приходилось встречаться с ним. Только в этом случае рассказ об этом человеке будет естественным, органичным. Только так можно отобразить его, исчезнувшего во времени и пространстве, только таким образом возможно художественно-психологическое постижение его неповторимого своеобразия.

К таким мыслям располагают связанные воедино одной нитью, словно четки, новеллы Резо Чейшвили, у которых один сюжетный контур.

Возможно, этот сборник — «Ветер доносит музыку» — самая лирическая книга автора, во всей полноте показавшая нам широкую гамму чувственно-эмоциональных возможностей писателя. В данном случае он как бы отказался от характерной для его поэтики сдержанности повествования и скупого подбора художественных средств.

Художественная и интеллектуальная изысканность, кстати, проявляющаяся с удивительным чувством меры, вычерчивает и придает осязаемую выразительность туманным воспоминаниям детства. Стилистическое совершенство выражения мысли достигается не высокопарностью слога с характерными для него банальными гиперболизированными метафорами, но живым чувствованием слова придающим ему вес и силу, делающим его непритязательным средством необычного выражения. Повествование в этой прекрасной книге сплетается из печальных звуков прошлого. Идет реставрация размытых временем картин тех дней, которые отмечены сакральной мыслью и, как гармония пережитой реальности и вымысла, драгоценнейшим кладом покоятся на дне памяти. Временами мысли эти пробуждаются в недрах памяти, внезапная молния освещает их, будоража наш дух. Вот в такой момент под внезапно нахлынувшими сладостными воспоминаниями в памяти писателя всплыли те удивительно близкие и незабываемые видения.

«Кто знает, может быть, действительно все это было когда-то, а может, и не было?!

В тот день мир словно объят был еном. Словно бы из пустоты доносились далекие крики петухов. Я стоял под обнаженными деревьями, в желтеющих под ногами листьях.

Стоял один-одинешенек и чувствовал, что существовал в чем-то великом и непонятном.

Как я четко помню тот день! День, с которого начинаются мои воспоминания, ясные и запутанные, как нескончаемый сон».

С этой прелюдией встают перед читателем 40—50-е годы, безрадостные дни которых кажутся безгранично счастливыми, потому что были восприняты с детской непосредственностью переживаний.

Шуршащие страницы памяти, словно фотографии из бережно хранимого семейного альбома, доносят до нас печальный отблеск канувшей безвозвратно реальности и сокрытое за обыденностью светлое поэтическое восприятие ее. На фоне собранной по кусочкам исповеди писатель раскрывает сложный процесс становления собственной личности, рассказывает о запомнившихся эпизодах из жизни людей, оставивших заметный след в его духовной биографии.

Естественно, что суровая война наложила свой отпечаток на сознание детей 40-х годов. Даже под родным кровом мальчика «ласкал» жуткий незнакомый ветерок, несущий с собой показную романтику и полную слез реальность. Ничто не радовало словно бы лишённую красок пытливость ребенка, и все же несмотря на это раскрывающаяся перед его жадным взором действительность скупыми и торопливыми мазками создавала галерею неповторимых образов и характеров, непреходящее значение которых можно было познать только по прошествии времени.

«У нас был довольно большой для города двор. Мои небогатые родители затеяли постройку дома, который соответствовал бы размеру двора, строительство его не закончено и по сей день, хотя с тех пор прошло добрых сорок лет». Между прочим, этот дом в книге имеет особое назначение. Это своего рода безмолвный свидетель и даже участник тех тяжелых времен. На это незаконченное и словно бы даже израненное тело дома наложила свой отпечаток пережитая боль неосознанного ожидания. Ничто не осталось неузнанным и сокрытым от этого человеческого жилища. Нескончаемый процесс его строительства, фатальная нестроенность и примиренческое настроение стали словно бы символом, отражением неподвижной, застывшей в одной плоскости атмосферы охваченного ужасом военного времени. К дому стремятся и из него исчезают люди, которым время уготовило странную судьбу. Добросовестно выполнив отведенную им в ограниченном про-

странстве роль, они безропотно ушли из земной жизни. Он (этот дом) с каким-то ужасающим равнодушием переносил потерю безгрешных, как дети, людей. Писатель делает все для того, чтобы не лишить эмоциональности напряженнейшие переживания прошлого и в то же время не преувеличить и не приукрасить ложной риторикой ту горечь, которую отразило его детское сознание.

«Наутро пришла весть о том, что сын Александре утонул накануне в Риони, недалеко от парома, в том самом месте, где тогда еще начинали строить новый мост. С того дня я уже никогда больше не видел и самого Александре». Всего несколько фраз вместили трагедию исчезновения юноши и убийства горем отца. Вместе с ними словно бы закрылась еще одна страница в жизни города. С исчезновением возницы Александре отмерла какая-то частичка прошлого, быть может, самая малая, навсегда лишив мальчика пасторальных представлений о жизни. В этой фразе опредмечено и представлено собственно время. В «пространстве одного мгновения» в данном случае свободно уместились разного рода объективно существующие явления. Слово, простое и в то же время претендующее быть единственным выразителем мысли, безжалостно разрушает возможность возникновения ложных иллюзий и пустых мечтаний, направляя сознание читателя по единственному указанному писателем мыслительному каналу.

В свое время Нодар Чхеидзе охарактеризовал стилистические новации Резо Чейшвили следующим образом: «Что можно сказать о его манере письма, стиле? Прежде всего то, что и манера и стиль соответствуют его видению, гротескному характеру его видения, соответствуют тому, о чем он повествует, чувству, которое передает, ситуации, которую создает, и что самое главное, соответствуют характеру его мышления. Именно поэтому его рассказы читаются с большим удовольствием. В них нет «воды», бездумных, бесцельных, без внутренней психологической мотивировки написанных фраз. Его стиль в высшей степени поэтичен, совершенен и пластичен». В данном случае критик акцентирует внимание на гармоническом сочетании стилистики и отношения к окружающему миру, на том, с какой естественной органичностью сочетается общее стремление мысли с конкретно-осознаваемым предметом изображения, какую надежную опору находит мысль в ситуациях самых обычных, даже мелких, бытовых, поскольку уже зара нее удивительно ясна и органична связь между желанием и

исполнением, субъективным переживанием и объективной причиной.

«Пришла весна... Взошла трава, зазеленели ветви. Из-под талого снега появились подснежники. В изгородях трифолиаты затрепыхались песчанки. И в дом пришел опытный тержольский плотник Артем». Волнующий и в то же время умиротворяющий процесс покрытия дома крышей тут представлен в самых существенных деталях. Естественно, существенные детали не исключают интересных мелочей, которые создают ясное и полное представление о ситуации и людях. «Артем был плотником и шарманщиком, он жаловался на какую-то болезнь, в которой винил шарманку, и ходил по крыше, согнувшись в три погибели. Быстро уставал, сетовал на плохое самочувствие и отсутствие аппетита. К вину не прикасался». Этот контурный портрет мастерового — прекрасный образец оригинального почерка писателя. Он хорошо знает, что не следует упускать из виду внешность персонажа, характерные для него жест, улыбку, все это интересно читателю. Абстрагированная личность, как правило, не запоминается. Поэтому даже с мимолетно промелькнувшим в книге персонажем мы расстаемся как с близким знакомым, о котором мы знаем почти все. А вот и еще один, последний штрих к портрету Артема: «Недавно я встретил его на похоронах. «Если подумать, что такое человек? — сказал он, когда мы уже выходили за ворота кладбища. — Ничто». Эти слова обнажают душу человека, смирившегося с тщетностью бытия. В его полном грусти восклицании, выражающем глубоко пережитую простую философскую истину, оживает исполненное страданий безрадостное прошлое.

В книге писатель воссоздает целый мир удивительных характеров. Они все — продукт реальной действительности и поэтому, несмотря на целый ряд эксцессов, они человечны, судьбы их вызывают в читателе активное чувство сострадания.

...В звуки донесшейся с ветром музыки постепенно вплетается скорбная мелодия войны. Непривычно нова для нашего натренированного слуха и полна таинственности интонация этих трепетных, похожих на шепот звуков. В ней начисто отсутствует ничего не говорящая, фальшиво приукрашенная фальшь патетика.

«Реки вспять не текут». В этом поэтическом фрагменте из бездонной глубины памяти извлечен еще один трогательный эпизод. В грубой действительности военного времени в восприимчивой душе ребенка запечатлелась картина, которая на фоне всеобщей скорби могла бы остаться и вовсе не заме-

ченной, но вызвала глубокое и искреннее сострадание мальчика. Неэкстремальная ситуация положила начало лирическому переживанию, в котором читатель угадает скорбную философию человеческой трагедии. Мальчик увидел, как из строя солдат, проходивших по улице перед их домом, вышел один и жадно припал к вытекавшему со двора ручейку воды, которая, естественно, была непригодна для питья. «Не пей», — хотел было крикнуть я, но не успел. Нагнувшийся над канавкой новобранец, упершись обеими руками в каменную ограду, жадно пил воду. Утолив жажду, он утер рот рукавом и, отряхивая мокрую фуражку, бегом догнал ушедший вперед отряд».

То, что произошло на глазах мальчика, словно бы не имело особого значения, но в этой картине проглядывает такая щемящая душу перспектива, которая не может не заставить задуматься: «Наша канава напомнила ему прозрачный родник в его родном селе. Вода везде, казалось ему, должна быть такой же чистой, как там, откуда он родом. Кто знает, куда потом проложил себе путь родник, ручеек или река его жизни, с чем слилась, или где образовала заводь, а может, и обмелела. Быть может, она с миром прошла весь свой путь от начала и до конца. Но ведь реки никогда не текут вспять. Они возвращаются, но не ручьями и прозрачными родниками, возвращаются в другом качестве, хотя бы и весенними дождями».

Силой воображения это, возможно, в свое время не до конца осознанное чувство было поднято на высоту обобщения, что придало самостоятельную ценность промелькнувшим чувствам сострадания и сопереживания.

К драматизму воспоминаний военных лет постепенно примешиваются напряженность и глубокая печаль. Но трагические ситуации пишутся красками, в которых светлый колорит доминирует над мрачным, способным ввергнуть в отчаяние, возможно, потому, что они увидены и восприняты ребенком. Такая пропорция красок вовсе не умаляет силы чувств, пробуждающихся в душе читателя, но они (эти чувства) протаптывают особые тропки к ней, сквозь улыбки и слезы вселяя глубокую скорбь.

Необъяснимо упорство родителей, у которых на фронт ушли два сына-близнеца, — они умоляют мальчика вспомнить, которого из братьев он видел, хотя и сами с трудом отличали их друг от друга. Но их мольбы напрасны. Они так и кончили свою жизнь, не утолив только им понятного и дорого-

то сердцу желанья — узнать, которого из братьев видел мальчик:

«В свое время сами они едва отличали друг от друга своих мальчиков, затем туманные образы сыновей в их представлении слились в одно целое, и они даже не упоминали их в отдельности. Шло время. Воспоминания войны бледнели, боль постепенно притуплялась, родители ждали близнецов вместе, их же все не было — ни вместе, ни по отдельности. Старики теряли зрение и все же не спускали глаз с дороги. Безрезультатно и безнадежно ждали сыновей. В этом ожидании они один за другим ушли из жизни, и на этом закончилась история братьев из Дзеври».

Упорствующие в своем ожидании родители только одной нитью связаны с действительностью — самая незначительная деталь приобретает для них особое, огромное значение. Ухватившись за нее, беспомощные, они, как водоросли с вырванными корнями, барахтаются в безжалостном водовороте несущей их суровой действительности. И нет силы, которая могла бы прекратить это бесплодное и бессмысленное противоборство с действительностью, поскольку только в нем находят они связующую их с блекнущими грезами прошлого надежду.

В горестной обстановке тянулись годы детства, сладкого и печального одновременно. Редко когда его унылые дни озарялись каким-нибудь ярким событием. К сожалению, даже они, как горестное видение, запечатлевались в сознании мальчика, отвыкшего от радости. Но эти впечатляющие картины сменяются сравнительно более светлыми эпизодами. В них очень мало радости, но иной раз даже ее достаточно, чтобы оживить подернутые пеплом чувства.

Летом сбежавшая от городской духоты и суеты детвора переводила дух в покое и тиши деревень. Естественно, это не было для них бездумным и вольным препровождением времени. Но рано или поздно мальчику приходилось возвращаться к тусклому и серому городскому быту. Возвращаться словно бы только затем, чтобы разрушить наивные представления детства в суровой и безжалостной действительности. Так входит в его сознание еще одна скрытая новация, оказывается, солдаты умирают не только на войне, уставшие и израненные, они умирают и в мирной обстановке, словно бы для того, чтобы своей смертью дать почувствовать людям, живущим вдали от грохота войны, как умирает солдат, какая торжественная скорбь сопровождает его до врат могилы: «Эта сумбурная

музыка сопровождала солдата, который умер в городе, где обычно солдаты не умирают. Быть может, этот человек и при жизни был несчастлив и неудачлив. Быть может, его смерть была так же абсурдна, как существование музыки в ветре».

Удивление мальчика достигло предела, когда в городе «молниеносно распространился слух, что привезли пленных».

Смотревший на них поначалу с некоторой опаской народ под конец убедился, что эти худые и небритые мужчины — обыкновенные люди. И тут совершенно естественно произошло то, что можно считать божеским выражением жалости и милосердия: «К полудню установился даже контакт между этими двумя противоборствующими лагерями, и что удивительно и в то же время вполне естественно, женщины вынесли из дома еду, казалось бы, что у них было, чтоб отдавать другим, однако это было так».

Возможно, другой, описывая аналогичную ситуацию, запутался бы в многословном красноречии, украшая это проявление милосердия красивым эмоционально-аналитическим орнаментом. Позиция автора книги абсолютно противоположна этому. Он говорит ровно столько, сколько требуется для совершенного восприятия этого уникального явления. Резо Чейшвили — повествователь в буквальном значении этого слова. Им глубоко усвоена и доведена до совершенства простая форма беседы с читателем, которая исключает все другие вспомогательные средства. Автор глубоко убежден в том, что если мысли в своей основе не заслуживают сочувствия и сопереживания, вряд ли кто станет слушать их, а тем более разделять, но это не значит, что прозаические произведения автора лишены художественных аксессуаров. Их достоинства определяют чувства меры и красоты, исключаящие самолюбование и наслаждение.

После появления пленных в городе произошло еще одно интересное событие, один из них подошел к воротам строящегося дома. Тепло и милосердие этого дома словно бы растопили лед недоверия. С тех пор он время от времени приходил и стоял возле лестницы в старом берете, дранном кашне, с фотографиями жены и детей в руках. Уходя, он вместе с теплотой хозяев уносил с собой и немного еды. И вот однажды в воскресенье он пришел опять. В доме не было еды, и хозяйка вынесла ему кусок каменной соли: «Пленный смутился, но не подал и виду, взял соль, завернул ее в бумагу, поблагодарил, попрощался и ушел; с тех пор мы его не видели».

Одной фразы оказалось достаточно для того, чтоб с точностью обрисовать полную психологических нюансов картину. Пленный уже не придет к дому; удивившись соли, которую ему подали люди, относившиеся к нему с добротой и сочувствием, он понял, что приходить ему сюда больше нельзя, почувствовал трещину в привычной для него благожелательности и, огорченный, предпочел уйти навсегда, чем увидеть растоптанной созданную им самим красивую иллюзию. Такова, должно быть, скрытая мысль этого эпизода...

Крутилось удивительное колесо жизни, постепенно забывались прошлые и печали, и радости. Пуританский образ жизни, который диктовался временем, вдруг сменялся детской беспечностью и вольностью. Эти минуты ненадолго возвращали детвору к прежним радостям, иной раз детским забавам со всем пылом предавались и возмужавшие уже парни. И никто и ничто не могло помешать им в этом. Но даже эти минутные радости были окрашены романтической печалью. Вот один из таких эпизодов: мальчики нашли где-то старую тахту и пустили ее вплавать через огромную лужу, образовавшуюся после проливного дождя, к другому берегу для уничтожения «вражеских позиций». Но тахта не желала передвигаться по мелководью, и их нехитрая затея провалилась. Мальчики молча разошлись по домам, каждый к своим повседневным делам. Зачинщиком этой игры был уже призванный в армию юноша. С детской непосредственностью и восторженностью он играл в моряка. Вскоре он ушел на фронт, ушел, чтоб больше не возвратиться в родной город. Последнюю детскую радость испытал он в тот благословенный, полный веселого азарта и шума день. Быть может, воспоминания этого дня делали хоть немного счастливым попавшего в ад войны кутанского парня Бадри Иаманидзе.

Пустели дома, пустели дворы, улицы, площади, пустели не потому, что не осталось больше людей в городе, естественно, остались многие, возможно, лучше тех, кто ушел, но заменить ушедших было невозможно. И город казался опустевшим без них, осиротелым и опустевшим.

Органично и пластично развиваются характеры персонажей до конца повествования, который должен прояснить внутреннюю мысль книги, полную перспективу ее логического развития. Рассказанное писателем оставляет после себя не бесконечную цепь утверждений, а удивительно легкий след, который, тем не менее, более привлекателен и соблазнителен.

Поэтична обстановка, которая господствует в доме краси-

вой, кокетливой старой девы, учительницы русского языка Майко Бурбуташвили. Годы ее молодости, проведенные в Петербурге, были озарены поэзией, в частности поэзией Блока.

«Майко Бурбуташвили каким-то образом была знакома с нашей семьей и на меня смотрела благосклонно. Раз в месяц, иногда и два раза она звала меня к себе домой для занятий», — вспоминает писатель. Мальчик сидел у нее в комнате, забитой старыми вещами, разглядывая фотографии «времен Адама», источавшие аромат прошлого века. Молчаливый уют комнаты не нарушало ничто, потому что сама учительница, пока ученик находился у нее, сидела в другой комнате. Выйдя на пенсию, она стала жить полной затворницей, добросовестно готовясь к смерти. Ей взбрела в голову мысль напоследок сфотографироваться на смертном одре, желаю, мол, увидеть, как буду выглядеть после смерти. Приглашенный фотограф был не в курсе дела и лежащую в гробу женщину принял за покойницу. Когда же она приподняла голову, перепуганный фотограф выронил «кормивший» его аппарат, сломав штатив и линзу. Этот курьезный случай не может не вызвать улыбки. Необычная атмосфера этого дома, удивительный уют и сама поэтичная натура его хозяйки были удивительно привлекательны и незабываемы для мальчика.

...Какое необъяснимое наслаждение — погрузиться в видения, в туманных пространствах которых трепещут, подобно умирающим, потерпевшим крушение надежд листьям, печальные картины жизни маленьких людей. Бодлер писал об этой печальной поре человеческой жизни: «Какой пронзительной силой полны часы осеннего заката! Они пронзительны до боли. Безотчетность восхитительных ощущений, возбуждаемых ими, неразделима с напряженностью, и острота чувств так велика, что различаешь дыхание вечности»¹.

Наивность персонажей книги вызывает сострадание. Они со спокойным смирением воспринимают безжалостную иронию людей, хотя и ощущают острую боль от пущенных в них стрел.

Странным видением промелькнул перед изумленными горожанами экзотический кенгуру. Его внешность и необычный способ передвижения до крайности удивили мечтательного мальчика. Появление его было словно бы символическим. Вместе с ним в город ворвалась весна, дабы щедрым теплом

¹ Алоизиус Бертран. Гаспар из тьмы. М., «Наука», 1981.

согреть охваченные ледяным ожиданием сердца. Разумеется, трудно представить себе свободно разгуливающего, до роде кенгуру и воспринять это как непреложный факт. Но в данном случае не это главное. Если даже он явился плодом фантазии писателя, это не умаляет искреннего пафоса восприятия и естественного воодушевления, которым полон эпизод. А в общем-то, и вправду логичны удивление и любознательность писателя, выраженные в его вопросе: «Что ты делал, кенгуру, в том году в мае в нашем городе?».

Кончилась война. Праздничное настроение охватило весь город: «В каждом уголке сада плясали и танцевали; доносились звуки доли, пандури и аккордеона. На открытой эстраде шел экспромтом концерт». Но постепенно затухала и становилась привычной неожиданная радость победы. Перенесенные испытания и волнения, которые невольно пережили все, наложили свой отпечаток на чувства и эмоции людей. Нужно было еще очень много времени для того, чтобы разрядилась и канула в небытие круто замешанная на трагических переживаниях атмосфера военных лет.

Стали прибывать в город солдаты, ушедшие на фронт, кто раньше, кто позже возвращались к своим семьям. Вместе со взрослыми с замиранием сердца ждала своих близких детвора. В их сердцах надеждой теплилась мечта о встрече с возвращающимися с поля боя мужчинами. Вернулся домой и родной дядя нашего героя. Мальчик торопился на вокзал встретить дядю, по которому он очень соскучился, и, увидев на дороге грузовую машину, не раздумывая, вспрыгнул в кузов. Там сидели двое уже взрослых ребят, которые безо всякой причины, из озорства стали бросать в мальчика куски угля, которым был засыпан кузов. Избегшие ужасов войны, эти взрослые парни, смеясь, швыряли в мальчика куски угля и вынудили его спрыгнуть с мчавшейся на полной скорости машины. Спрыгнув, он не удержался на ногах, упал и до крови ушиб голову. Прошли годы, время дало ответ на многие вопросы, мучившие мальчика в прошлом, но среди прочих необъяснимых один с удивительным упорством требовал разъяснения: «Что им было нужно, почему они бросали в меня куски угля? Даже если я пойму все остальное, это объяснить не смогу никак, радости моей они не убили, клейма не наложили, но горячие уголья незаслуженной обиды жгли мою душу. Сумрак забвения, наверное, вскоре покроет этот день, так же как асфальт покрыл камень, окрашенный моей кровью. Но оставшаяся обида не сглаживается, а все сгущается». Сколько

времени прошло с того недоброй памяти дня, и как же грубо ранил душу не доступный пониманию цинизм.

Кончилась война, и душевная успокоенность незаметно породила безграничное чувство наслаждения родным кровом. В нем все удивительно близко и дорого. «Мне казалось и сейчас кажется, что нигде нет такого звездного неба, словно покрытого глазурью, нигде не бывает таких тихих ночей, как в моем родном крае», — думает мальчик тихой спокойной ночью. А утром узнает неприятную весть о пропаже Мурии. Еще новорожденным щенком мальчик приютил Мурию и с любовью растил, деля с ним нищенский кусок. И вот он узнал о его пропаже. В памяти его всплыли эпизоды из жизни щенка: «Рос мой коричневато-желтоватый Мурия и худел, буквально таял на глазах. Он сбавлял в весе, и я сбавлял вместе с ним. Даже меня не хватило бы ему, чтоб насытиться, что уж говорить об остатках от моей еды. Он просил есть, но не упрекал за то, что не давали, не было еды, потому и не давали, что ж было упрекать, и сам он не мог добыть себе еды. Не стал бы ведь он, как другие собаки, таскаться по улицам, дворам и столовым, копаясь в мусоре. Ничего не поделаешь, верно, думал он, покорившись судьбе. Если он не видел пищи, если его не беспокоил запах съестного, он забывался, как я уже говорил: игрался, лаял, сторожил двор и покорно тянул свою собачью ляжку». Мальчик не верил в его возвращение и все-таки ждал. И вот в один день Мурия, действительно, стрелой ворвался во двор, как сумасшедший, бросился к хозяину, всем своим видом показывая, как он скучал, затем деловито обожал свои владения, снова бросился к мальчику, облизал ему руки, потряхиваясь, лег возле его ног и затих. Возможно, своим грустным молчанием он просил прощения за предательство, просил того, кто ничего не жалел для него, делился с ним последним.

Вскоре после этого Мурия еще раз исчез, а затем появился вновь только для того, чтоб навсегда остаться в памяти любящего хозяина: «И сегодня, когда я вижу потерявшуюся собаку, вижу, как она мечется в толпе, обнюхивая пропахший бензином асфальт, ища заветный запах любимого хозяина, мной на какое-то время овладевает острая грусть».

Удивительное желание, которое мальчик обнаружил в себе, возможно, на какое-то время притупило тоску по пропавшей любимой собаке. Как-то зимней морозной ночью, когда семья готовилась ко сну, мальчик придвинулся поближе к керосиновой лампе, бросил взгляд на окно, за которым сквозь ра-

зорванные облака бледнела луна, и, посплюнявив кончик химического карандаша, на розовой промакашке написал свое первое стихотворение о весне. Это открытие озадачило мальчика, но тем не менее он никому ничего не сказал: «Стихотворение я никому не показывал, и в школу его не понес, не показал ни учительнице, ни товарищам, не красовалось оно и в учительской на стене». И все-таки стихотворение это выполнило свое особое назначение хотя бы тем, что навсегда запомнилось автору.

Среди всех прочих персонажей книги особое место занимает оригинальный образ Бенедикте Нозадзе, отличающийся дисгармонией с действительностью, бесперспективной и беспочвенной жизненной философией. Искра беспредметного поиска в нем, несмотря на все его старания, никак не желала разжечься в костер во благо человечества: «Он изготавливал, вернее, создавал в тот период лекарство, способствующее росту волос: имей это начинание добрый конец, Бенедикте произвел бы переворот если не в медицине, то по крайней мере в косметике».

Иллюзорное восприятие реальности, естественно, снискало роль чудака человеку, предававшемуся пустым мечтаниям. Его смелым опытам в области косметики дал толчок довольно экстравагантный случай. Выпавший или, быть может, выброшенный как-то раз из поезда Бенедикте, перекувырнувшись, упал, ударившись лысой головой оземь. И вот это и повлекло за собой странное явление — у Бенедикте стали расти волосы. Этот беспрецедентный случай прославил его как человека, творящего чудеса. К нему толпой повалили лысые пациенты, которые очень скоро начинали раскаиваться в своей доверчивости.

Преданность косметической науке вынудила его отправиться на поиски того места, о которое он ударился, упав. Он искал ту почву, волшебный состав которой совершил чудо. Потеряв покой, он бродил по путям между Хашури и Каспи в поисках чудодейственной земли. Затем принялся за изготовление лекарств из нее. Он трудился, не покладая рук, этот алхимик от косметики, дабы панацея от облысения получила признание и внедрение в медицинскую практику. Устав от бесплодной борьбы, он все же не сложил оружия и с надеждой взирал в будущее. Беспочвенная одержимость сквозит в нечуждо-философских рассуждениях Бенедикте: «Все равно, пока жив, я не оставляю этого дела... Буду бороться, а там посмотрим... Когда один паясничает и смеется, второму бывает

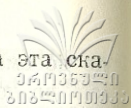
не до смеха, а ведь от смеха до слез всего один шаг. Еще никто до конца не разобрался, над чем смеяться и над чем плакать, уважаемый. Мы все играем... Но рано или поздно все постепенно выйдут из игры, и судьей над нами всеми будет бог...»

Симптоматична вложенная в его уста мысль, поскольку она органична и для других персонажей книги. Рано или поздно для исполнителей всех ролей на «сцене» жизни наступает пора заката; и, между прочим, человеческое восприятие этих «ролей» зависит от того, под каким углом зрения они увидены — кому-то покажутся смешными эти «актерские» жизни, а у кого-то, быть может, вызовут сострадание. Согбенные под тяжелым бременем жизни, герои этой книги тщетно пытаются разгадать алогическое течение бытия. Лишенные прочной реальной опоры, они становятся шутами поневоле, совершенствуясь в притворстве, остроумии или в грубых тяжеловесных шутках, и вознаграждением за все это им служит хохот толпы. Но наедине с собой они, возможно, чувствуют свою беспомощность и бесплодность и прекрасно сознают, что завтрашний день с безжалостной жестокостью потребует от них продолжения игры. Контраст между их безнадежными душевными переживаниями и жизненным назначением убийствен.

«Народ прекрасно различает правду и ложь: люди иной раз верят в невозможное, согласно кивая головой собеседнику, сами же думают совсем другое, и в глазах у них сквозит недоверие. Лгунишку и правдолюбца никогда не спутаешь. Этот любит правду, а этот — лгун, говорят люди, и абсолютно точно, безошибочно указывают и на одного, и на другого».

Эта этическая формула человеческих взаимоотношений имеет достаточно широкий диапазон действий, другое дело, является ли ложь неизлечимым пороком. Особую привлекательность и колорит придает героям этой книги бахвальство, которым они даже чуть-чуть гордятся. Минутное удовлетворение, которое они получают, завираясь, словно бы сводит на нет иронический огонек недоверия в глазах собеседника. Они предпочитают быть добровольными пленниками своих пустых иллюзий, нежели довольствоваться сухой, неинтересной действительностью. Жертвой одной из таких иллюзий и стал Алеко Тедорадзе, одержимый манией добыть большие деньги. Эта мания и породила миф о найденном в городском саду большом пакете денег, которые в силу неблагоприятного стечения обстоятельств уплыли у него из рук и попали в милицию. Алеко

никогда не лгал, поэтому всех его знакомых удивила эта ска-
зка.



Дом потихоньку строился, хорошел. Изменчивое время ос-
тавляло свои следы и на его огромном теле. В его стенах лю-
ди с привычной добросовестностью выполняли свои повседне-
вные традиционные дела. Рос ребенок, богател его чувственно-
эмоциональный мир.

Специально выработанный ритуал одной из буддистских
сект состоит из сложной системы символики, которая должна
передаваться позой, движением и дикцией адепта или пропо-
ведника. Ритуальное действие дает импульс к соответствующим
переживаниям и религиозному настроению участников и сви-
детелей, точно так же, как скрытые указания писателя при
правильном их восприятии направляют наши эмоции по вер-
ному руслу.

Вновь закружилось колесо памяти и извлекло на свет бо-
жий «пожилого, лишенного солнца и тепла человека по имени
Васо из одного из северных городов». Ничего особенного не
было в его бесцветном существовании. Словно принесенный
ветром листок, остался он в этом городе и, благодарный судь-
бе, блаженствовал в лучах солнца, которого здесь было пре-
достаточно. Единственный модус, которым наделил его писа-
тель, — простодушная наивность. Он, как покорная собачка,
готов служить каждому, кто только того пожелает. Неспособ-
ный отказать кому-либо, он берется и за такие дела, которые
ему не под силу. Острая жалость закралась в душу ребенка,
когда он увидел, как Васо, подобно побитой собаке, посрам-
ленный, уходил со двора, не справившись с работой кровель-
щика. От всей фигурки маленького неудачника веяло скорбью.

Среди множества людей со своеобразными, неповтори-
мыми характерами, которые оживают в видениях прошлого,
есть и такие, что обогащают наши представления о человеке.
Именно таким человеком является остроумная эмоциональная
женщина, нашедшая прибежище в уже хорошо знакомом нам
доме. Лариса почти ничего не делала, кроме того, что до позд-
ней ночи читала, это было ее единственной радостью. «Она чи-
тала маленькие романы, приключения. Переживала и плака-
ла, хотя и не верила ничему (авторов она, как правило, не за-
поминала). Сидя у камина, она читала «Отцеубийцу», «Три-
стана и Изольду» и плакала, буквально исходила слезами». Она
была убеждена, что события, описанные в романах и

рассказах, вымышлены — «Понравилось, но ведь все это ложь»... — говорила она, абсолютно убежденная в своей правоте, но тем не менее опухшая от слез. Вот так в плаче и слезах постепенно таяла ее жизнь. Умирая, она «затуманенными глазами смотрела на скорбные лица вокруг, не понимая, правда это или вымысел — то, что она видит, понимает и чувствует. Она так и умерла, не пролив ни единой слезинки. Ведь Лариса плакала только над ложью и вымыслом».

В жизни, как нас убеждает писатель, мы часто проходим мимо многих событий, которые подчас более значительны, нежели те, что отмечены претензией на значительность. Они убеждают нас в исключительном многообразии человеческой психики, незнание которой обедняет наши представления. Иной раз прочитаешь сотни страниц и не встретишь ничего, кроме общих, зачастую фальшивых рассуждений. И вдруг внезапно наткнешься на эпизод, в котором, словно в оазисе, забываешь о бесплодной, ничего не говорящей, лишенной красок пустыне слов и который близостью к жизни пробуждает потухший было интерес. Такого рода чувства я пережил, читая непритязательную историю слезливой читательницы романов Ларисы. С пронзительной любовью и сочувствием иронией лепит писатель померкший образ несчастной женщины и словно бы поет поминальную песнь печальному прошлому.

Наряду с раздавленными, смирившимися с судьбой маленькими людьми в книге выведены люди с сильными характерами, справедливые и добрые, которые смело шагают по тернистому пути жизни. Счастье в их понимании — это то, за что надо бороться, и поэтому смыслом их жизни является борьба.

Память писателя сохранила и перипетии его поездки в Цагвери в товарном вагоне: в монотонный стук колес вплеталась нескончаемая болтовня незнакомой девчонки-попутчицы. Беспредметный разговор утомлял мальчика, хотя он чувствовал, что его равнодушие к девочке помимо его воли теряет под собой почву и постепенно сменяется любопытством. Разговор между детьми мимолетно коснулся даже запретных для них сфер. «Наивной эту девочку назвать нельзя было, но она искренне и заразительно смеялась». В этом замечании мальчика сквозит такая доброжелательность, которая предполагает в нем и иные чувства. В Цагвери их распределили по разным лагерям, девочка страшно расстроилась и заплакала. «Я буду приходить к тебе каждый день», — сказал я ей. Лия, утерев слезы, замолчала».

То, что эта встреча с девочкой не просто легкий штрих прошлого, доказывают скрытая мысль и напряженность этого эпизода. Постигание нюансов текста раскрывает коренное значение движений души. Субъективное желание, идущее из глубины души писателя, проявляет свою сакральную мысль только легким жестом. В этом эпизоде невозможно увидеть только передвижение поезда в пространстве, а в его монотонном стуке невозможно не услышать глухой отголосок первого романтического трепета.

Прекрасными переживаниями отмечены оставшиеся в памяти писателя эпизоды его жизни, они незабываемы и значительны.

Раскрытая перед читателем книга Р. Чейшвили — принесенные ветром мелодии, которыми он дирижирует с безошибочным чутьем и вкусом.

ХРОНИКА

ПЕВЕЦ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА

В Тбилисском государственном театре имени Грибоедова состоялся юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Николая Тихонова.

Отдать дань уважения и любви признанному мастеру слова пришли многочисленные почитатели таланта Николая Тихонова, советские писатели — участники «круглого стола», организованного в Тбилиси редколлекцией журнала «Дружба народов», Союзом писателей и Госагропромом Грузии.

На вечере присутствовали товарищи Патиашвили Д. И.,

Алавидзе В. И., Гиладшвили П. Г., Енукидзе Г. Н., Никольский Б. В., Черкезия О. Е., Чхеидзе З. А.

Открыл вечер председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

На юбилейном вечере выступили И. Абашидзе, Г. Абашидзе, А. Алексидзе, Т. Буачидзе, И. Богомолов, Г. Маргвелашвили, Д. Чарквиани.

Проникновенно прозвучало выступление секретаря правления Союза писателей СССР, большого друга Грузии В. Коротича.

О непреходящем значении творчества Николая Тихонова в нашей духовной жизни говорил на вечере А. Межиров, прочитавший несколько стихотворений Тихонова о Грузии.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕСТНОМУ

В. Маяковский в Тифлисе в 1924 году

Тема «В. Маяковский в Грузии» предполагает два аспекта: детство в Багдади и учебу в Кутаиси, а также приезды в Тифлис в 1924, 1926 и 1927 годах. И если первый из них изучен досконально (труды Г. Бебутова, В. Катаняна, В. Перцова и других), то второй — хотя и привлекал внимание литературоведов, пока не исследован с той же тщательностью. В данной статье речь пойдет о первом приезде поэта в столицу республики уже в годы Советской власти.

Воспоминания о великом земляке, материалы документального, иллюстративного и критического характера, постоянно «расширяющиеся и углубляющиеся» в сборниках «Маяковский в Грузии» (1937), «О Маяковском. Дни и встречи» (1963), «Перед вами, багдадские небеса» (1973), систематизированные в диссертации В. Лаперашвили, и другие уже многое поведали о пребывании поэта в Тифлисе в августе — сентябре 1924 года. Можно

считать, что общая картина этого посещения им нашего города ясна: мы знаем, с кем и когда он встречался, о чем говорил, что видел, какие произведения читал своему грузинскому окружению.

При этом следует иметь в виду, что основная информация об этом почерпнута из воспоминаний современников и очевидцев. Отсюда и своеобразие имеющихся сведений: в воспоминаниях имеются ошибки памяти, некоторые факты не локализованы во времени, ряд данных повторяется в мемуарах различных деятелей (к сожалению, не самые важные — о походах в знаменитую «Симпатию» пишут все мемуаристы), а наиболее существенные события того времени, которые должны были заинтересовать приезжего поэта, преданы забвению или отражены довольно блекло. Это и побудило к расширению круга источников, стремлению обратиться к данным прессы, чтобы рассказать о некоторых событиях в жизни республики, ее творческой интеллигенции, которые могли привлечь вни-

мание поэта. Это позволило бы дать более полное представление о пребывании В. Маяковского в Тифлисе.

20 августа 1924 года он выехал на юг для чтения лекций. 29 августа уже находился в столице Грузии. Газета «Заря Востока» сообщала: «В Тифлис из Новороссийска приехал поэт Владимир Маяковский. Следует ожидать его выступлений с новыми стихами».

В августе горожане обычно перебираются на дачи, в деревни, к морю. И тем не менее пребывание Маяковского в Тифлисе оказалось плодотворным.

Прежде всего он познакомился с некоторыми поэтами и художниками Грузии. К. Зданевич, его знакомый еще со времен совместной учебы в студии П. Келина, проводил с поэтом много времени, сопровождал его при посещении редакций, знакомил с грузинскими писателями. Так, он привел его в редакцию журнала «Мнатоби», где познакомил с редактором отдела Симоном Чиковани. Как выяснилось, приехавший накануне Маяковский уже успел познакомиться с другими футуристами — Н. Шенгелая, Ж. Гогоберидзе.

Известный театральный художник И. Гамрекели вспоминал, что в 1924 году в Тифлисе существовал кружок левовцев (И. Гамрекели, Б. Жгенти, С. Чиковани, Н. Шенгелая, Ш. Алхазидзе, В. Гордизани и другие). Собирались они в маленькой комнате Дворца писателей. Вскоре после приезда В. Маяковский пришел к ним в кружок. Они читали стихи, об-

суждали свои дела. Собирались и в день отъезда поэта, даже пили вино из Багдада, играли в бильярд. Поэт чуть не опоздал на поезд из-за партии бильярда. Он бросил чемодан в ближайший от него вагон, попросился со всеми и гигантскими шагами бросился догонять поезд.

Представители художественной интеллигенции Грузии часто встречались в лучшем восточном подвальчике «Олимпия» у знаменитого Аветика, в ту пору затмившего всех городских кулинаров. Аветика предупредили, что приехал известный русский поэт и ему надо оказать достойный прием. Он познакомился с поэтом, Маяковский заговорил с ним по-грузински. Аветик засуетился и в отдельном номере накрыл прекрасный стол. Здесь Маяковский бывал неоднократно с Н. Шенгелая, Ж. Гогоберидзе, С. Чиковани, К. Зданевичем и другими. Конечно, за столом произносились тосты, но также читались и обсуждались стихи.

В. Маяковский побывал в гостях у К. Зданевича на Петровской улице. С широкого балкона его квартиры открывался вид на раскинувшийся по берегам Куры город. Во время ужина все выходило на этот балкон и любовались великолепным зрелищем. Казалось, сама природа готовилась слушать собравшихся. Во время одного из перерывов в трапезе гость заявил, что будет читать стихи. Все обрадовались, расселись по креслам. Маяковский читал стоя «Левый марш», «Необычай-

ное приключение...», отрывки из поэм «Человек», «Про это» и другие. Все уже знали эти стихи, Ж. Гогоберидзе их читал часто и хорошо, но В. Маяковский еще лучше.

«На балконе не было света, он освещался лампой, горевшей в комнате. В единоразовом свете и ночной тьме вырисовывалась фигура поэта, читавшего нам свои стихи. Каждое слово произнесенное бархатным басистым голосом, как будто отдавалось эхом в горах. Голос, рожденный привольными просторами, не уместился в тифлиских теснинах, колобродил в оврагах и отзвуком вновь возвращался к нашему балкону. Казалось, сам воздух колеблется, и его струи обдают наши пылающие лица». Поэт полагался на свой голос, вообще придавал большое значение авторскому чтению. Он хотел сам пропагандировать свои стихи.

Таким образом, в этот свой приезд, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, В. Маяковский познакомился с некоторыми представителями местной художественной интеллигенции. Отсюда и начинается «отсчет» его связей с грузинскими советскими поэтами. Сведения эти сохранили для нас мемуаристы, за что мы очень им благодарны.

От них же исходят и некоторые данные из творческой истории ряда произведений поэта. Так, утвердилось мнение, что В. Маяковский всегда писал, находясь в движении. Иногда в дороге он работал интенсивнее, чем дома. С. Чиковани вспоминал, что его

внимание привлек раскрытый чемодан, в котором лежало несколько книг о Ленине и о Ленине. На немой вопрос поэт ответил, что пишет поэму о Ленине, надеется закончить ее к концу года. Поэтому она должна интенсивно писаться и в Тифлисе. Здесь же он работал и над несколькими стихотворениями. Некоторые из них были сданы им в газету «Заря Востока». 3 сентября уже публикуется «Владикавказ — Тифлис».

Благодаря мемуаристам дошли до нашего времени сведения о творческой истории этого произведения. А. Белиашвили рассказывает, что впервые увидел В. Маяковского в конце августа 1924 года. Он передевался и раскладывал на столе, подоконнике, комоды папиросные коробки, обрывки газет, бумажные салфетки, обложки книг и т. д. Разложив, оглядел их, а затем стал переписывать из них отдельные слова и строки в записную книжку. Поэт писал везде и на всем, что попадалось под руку, записывал пришедшие в голову строки. Так он переписал при Белиашвили ставшее потом знаменитым стихотворение «Владикавказ — Тифлис».

Симон Чиковани говорил о том, что при первом же знакомстве строки «история — врун даровитый, бубнит лишь, что были царьки да князьки: Ираклии, Ольги, Давиды» вызвали спор. Как известно, в истории Грузии не было Ольги, а упоминание в ироническом контексте Ираклия и Давида (в духе того времени) вызывало возражения. Когда при-

существовавшие объяснили ему, что хотя они и футуристы, но историю знают, и предложили другие женские имена (просветительницы Нины, царицы Тамар, мученицы Кетеван), поэт остановился на Нине, а на возражения ответил, что в стихотворении не видит ничего принижающего историю страны. Себя он объявил в нем грузином, ввел грузинскую песню.

О строках грузинской песни вспоминал Ш. Дадияни. Романс «Молод шен эртс» Маяковский мог слышать в Кутаиси в годы учебы. Много лет спустя, в Баку он в ответ на тост В. Гуния спел ее, а в Тифлисе ввел в стихотворение «Владикавказ — Тифлис».

В связи с этим несколько слов о его значении для грузинской действительности того времени, когда В. Маяковский был здесь. Говоря в поэтической форме об истории Грузии, поэт упомянул и о годах «меньшевистского безвременья». В недалеком прошлом «правящих кучка» — меньшевики «чмокали в ручку» французов, немцев, англичан. Держались они только на штыках интервентов. А надежду на свержение новой власти снова возлагали на них. Против этого «дворянско-княжеского восстания» протестовали рабочие, крестьяне, интеллигенция, воины Красной Армии, поскольку меньшевики нарушали недавно завоеванный покой республики, снова втягивали ее в хаос. В обращении «К рабочим, крестьянам, ко всем трудящимся Грузии» указывалось, что «тифлисский пролетари-

ат требует суровой кары для бандитов». Опубликовано оно было 3 сентября, когда появилось в печати и стихотворение Маяковского. Так голос поэта «включился» в общий хор протеста против попытки новой интервенции.

В атмосферу того времени удивительно вписалась и мечта В. Маяковского о превращении Тифлиса в индустриальный город. На 2-й сессии Закавказского ЦИКа, проходившего в те дни, широко обсуждались экономические проблемы. Грузия быстро восстанавливала свое хозяйство, а этому процессу хотели помешать меньшевики. Именно мирный труд грузинского народа и пытались они нарушить. Поэтому слова В. Маяковского о «меньшевистском безвременьи» были поразительно своевременны, а ударные строки «Только под знаменем большевиков воскресла свободная Грузия!» являлись закономерным выводом произведения.

Очевидцы сохранили сведения о взаимоотношениях В. Маяковского и Котэ Марджанишвили. Еще в 1914 году поэт высказал уверенность, что с верхней станции фуникулера можно разговаривать со всем миром. Видимо, он предчувствовал, что найдется режиссер, который сумеет осуществить грандиозный замысел. После зимнего сезона театр имени Руставели летом 1924 года отдыхал в Манглиси, готовил новые постановки. Режиссер получил пьесу из Москвы («кажется, от самого Маяковского») и работал над ней. Как-то вечером он стал развивать пе-

ред коллективом план постановки. «Мистерии-буфф».

По первой наметке К. Марджанишвили собирался ставить пьесу на верхней станции фуникулера. Но осмотр местности убедил его, что на плоской поверхности трудно (поднимать декорации, устраивать места для зрителей и т. д.). Вылетев с И. Гамрекели на маленьком самолете в Манглиси, они еще раз осмотрели гору св. Давида и место для постановки выбрали у нижней станции фуникулера. Зрители должны были располагаться по обеим сторонам природного амфитеатра.

«Какая задача, — говорил режиссер, — использование пространства, природных и искусственных декораций, а также света и звука! Никакой шумовой музыки...» Он остановился на военном оркестре и на речевых хорах (последние — как отголосок повторения текста). Так созрел замысел грандиозной постановки пьесы.

В. Маяковского он увлек. С художником И. Гамрекели автор «Мистерии-буфф» обсуждал декорации, а тот нарисовал на поэта ряд шаржей. Они долго не могли придумать оформления сцени ады. Тогда поэт предложил огромный горящий примус и на нем сковороду, где и разворачивалось бы действие. Из 25 декораций художник успел сделать всего несколько (некоторые дублировал для поэта). А главным макетом оказалась легкая конструкция, фоном которой служил весь город.

После раздумий К. Марджанишвили поручил пере-

вод пьесы Т. Табидзе, спорил с ним о сроках, договорился получать переведенные материалы по частям. Его обрадовало, что Тициан имел свой экземпляр пьесы (режиссер продолжал штудировать «Мистерию...»). Пьеса увлекла режиссера: она давала возможность проявиться богатырским силам, но прежде всего его привлекала злободневность произведения.

«Одному бублик, другому — дырка от бублика, — хохотал Марджанишвили, — это бьет не только по царизму, но и по меньшевикам. Подумай только, ведь это единственная пьеса, которая дает возможность театру откликнуться на политическую злободневность. Нет, ее надо скорее переводить и ставить...»

В беседах с режиссером В. Маяковский одобрял его задумки и обещал кое-что прибавить. Эти добавления касались привнесения в произведение большей злободневности.

Представление мыслилось массовым зрелищем, наподобие античных постановок. У К. Марджанишвили имелся опыт реализации подобных замыслов: он участвовал в грандиозной постановке «Взятие Зимнего дворца» на площади у Фондовой биржи в Ленинграде. И на этот раз замысел оказался грандиозным. Если величие Октября потребовало от Маяковского уподобления революции потоцу, то и постановка пьесы заставила режиссера мыслить подобными же библейскими и космическими масштабами. К сожалению, за-

мысел осуществить не удалось.

Эти данные мы извлекли из воспоминаний И. Гамрекели, Т. Вахвашишвили, Т. Табидзе. Однако, кроме факта сотрудничества двух великих деятелей в августе — сентябре 1924 года, нам ничего не известно. А как сложились их дальнейшие взаимоотношения? Приезжая в 1926 и 1927 годах в Тифлис, поэт в разгар театрального сезона выступал в театре имени Руставели, где в то время работал грузинский режиссер. Они могли встретиться даже случайно. Но не внесла ли неосуществленная постановка охлаждения в их отношения? К сожалению, в воспоминаниях об этом ничего не говорится.

Между тем в последний свой приезд в Тифлис Маяковский стал свидетелем бурной критики всей деятельности главного театра республики (как новых, так и старых постановок, возобновленных пьес и т. д.) со стороны пролетарских критиков во главе с Платоном Кикодзе. Даже прославленная постановка «Гамлета» (режиссер К. Марджанишвили, художник И. Гамрекели) получила новую, почти отрицательную оценку. Речь идет о том критике П. Кикодзе, с которым в последний свой приезд столкнулся и В. Маяковский на диспуте в Закавказском коммунистическом университете (ЗКУ). Этот момент творческой биографии поэта еще предстоит изучить.

Как видим, мемуаристы рассказали о многом, но не обо всем. Иногда их сведе-

ния нуждаются в проверке и перепроверке. Как пример, приведем версию Н. Вержбицкого о том, что в сентябре 1924 года в Тифлисе в его присутствии состоялась встреча С. Есенина и В. Маяковского, что они поднялись на фуникулер, обменялись словесными ударами-шутками («Звезда», № 2, 1958; «Вечерний Тбилиси», № 131, 7/VI 1980 и др.). Создана красивая картина встречи двух великих поэтов, воссоздан остроумный диалог со взаимными остротами. Но состоялась ли эта встреча в действительности?..

Н. Вержбицкий («дядя Коля») долго жил и работал в Тифлисе, где встречался с Есениным, а также и с Маяковским, но не одновременно. Видимо, он просто «соединил» в разное время происшедшие встречи и «сочинил» разговор поэтов. Во всяком случае, пока не будут найдены доказательства достоверности этой встречи, место картине, нарисованной Н. Вержбицким, в художественном произведении, а не в научных трудах. Там вымышленная сцена может стать «продолжением» действительных взаимоотношений двух поэтов, но не фактом. И тут приходится поправлять мемуариста.

Между тем «тифлисская спираль» взаимоотношений С. Есенина и В. Маяковского очень интересна. Кроме упомянутой нами апокрифической встречи поэтов имеются более убедительные материалы 1926, 1927 и иных годов (стихотворение «Сергею Есенину» и другие). К 1924 году отно-

сится статья Н. Асеева «Новости литературы», в которой наряду с другими произведениями советских писателей характеризовались поэмы Есенина и Маяковского о вожде, которым давались резко противоположные оценки («Заря Востока», № 675, 12/IX 1924). К сожалению, об этом еще никто не писал.

Что нам известно о взаимоотношениях В. Маяковского с поэтами Грузии? В воспоминаниях и трудах В. Гаприндашвили, С. Чиковани, Б. Жгенти, Д. Шенгелая, Г. Леонидзе, Л. Асатиани, Г. Бебутова, Г. Маргвелашвили и других речь идет о многих интересных и значительных событиях. Однако немало предано забвению. Более полно осведомлены мы о взаимоотношениях поэта с грузинскими футуристами-лефовцами, знаем о его отношениях с отдельными «голубороговцами». Значительно меньше — о его творческих и прочих контактах с пролетарскими писателями. По нашим данным, в 1927 году произошли первые встречи поэта с пролетарскими поэтами Грузии (уже в 1926 году у него была с ними встреча). Некоторые авторы датируют подобную встречу даже 1924 годом, что еще нуждается в доказательствах. Сейчас материалы Союза писателей Грузии тех лет стали доступны и должны быть изучены.

Главным делом пребывания Маяковского в Тифлисе в 1924 году стала публикация его произведений на страницах газеты «Заря Востока». Мы попытались охарактеризовать значение

появления в ней тогда стихотворения «Владикавказ Тифлис». Большое значение имели и другие произведения поэта. Так, уже после его отъезда появилось стихотворение «Юбилейное», написанное в связи с 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. Несмотря на сложную обстановку, грузинская общественность отметила юбилей великого русского поэта.

Публикация произведений В. Маяковского в Тифлисе — факт известный, но здесь требуется уточнение, обогащение менее известными данными, общественно-литературный комментарий. Культурная жизнь в республике никогда не затихала, а пресса вопросам литературы и искусства уделяла почетное место. Общественность информировалась о жизни и деятельности различных деятелей, откликалась на юбилей педагогов, артистов, писателей, художников. В Грузии не только отмечался юбилей А. С. Пушкина и давалась информация о Пушкинских днях в России: об открытии Пушкинского музея в селе Михайловском, многолюдном митинге на Святых горах и т. д. В республиканской печати сообщалось о приближающемся юбилее И. Репина, характеризовалось его творчество.

На страницах тифлисских газет увидели свет многие выдающиеся произведения русской и грузинской литературы. Так, кроме произведений В. Маяковского, «Заря Востока» опубликовала «Песнь о великом походе» и «На Кавказе» С. Есенина. В газете сотруд-

начали М. Шагинян, Л. Сейфуллина и другие писатели. Среди очерков отметим «По Военно-Грузинской дороге» А. Соболя. Написанный с большим юмором, этот материал во многом предварил аналогичную сцену из известного произведения Ильфа и Петрова. Часто публикация художественных произведений и литературных обзоров сопровождалась сообщением от редакции (в июле, августе, сентябре газеты известили о предполагаемой публикации произведений С. Есенина, В. Маяковского, Л. Сейфуллиной и других).

Отметим квалифицированные литературные обзоры. В одном из них анализировался сборник «Литературная Россия» (М., 1924), в котором публиковались произведения В. Лидина, Л. Леонова, В. Катаева, Малышкина, Вс. Иванова и многих других. Большинство из названных писателей — участники революции и гражданской войны, которые успешно трудились потом и на мирных фронтах. Все они стали впоследствии большими советскими писателями. Эта обзорная статья была напечатана центральной газетой Закавказья «Зарей Востока» от 14 сентября 1924 года. Уже упоминалась работа Н. Асеева «Новости литературы». В ней, кроме характеристики поэм Маяковского и Есенина о В. И. Ленине, анализировался роман В. Шкловского и Вс. Иванова «Иприт», приводились сведения о начинающих тогда поэтах И. Сельвинском, С. Кирсанове и других.

В атмосфере литератур-

ной жизни Грузии того периода стихотворение «Юбилейное» выглядит вполне уместно. И хотя не все его положения приемлемы для нас сегодня, тогда их дискуссионность была менее заметна, а участие в Пушкинском юбилее положительно характеризует бывшего футуриста Маяковского, который раньше требовал «сбросить Пушкина с корабля современности». Теперь же он приглашал этого далекого и близкого поэта участвовать в современной литературной жизни, как делал это сам.

Смерть Ленина, ленинский призыв, общее повзросление литературных сил способствовали становлению Маяковского как поэта. Поэтому «Юбилейное» должно рассматриваться в свете не только настоящего этапа творчества, но и будущего, которое начинается с гоэмы о вожде. А с этой точки зрения новое отношение Маяковского к Пушкину — «старому другу» — вполне закономерно.

20 сентября, после отъезда поэта, в газете «Заря Востока» появилось его стихотворение о 26 бакинских комиссарах («Гулом восставший, на эхо помноженном, об этом дадут настоящий стих, а я лишь то, что сегодня можно, скажу о деле 26-ти»). В нем говорилось о «тяжелой лапе Запада на горле Востока». Запад богател на грабеже Востока, всех — от индуса до грузина — превратил в рабов. И когда первый на Востоке на Октябрьскую вахту встал Азербайджан, империалисты поспешили задуть Бакнинскую комму-

Заканчивалось произведение выводом: «Весь Восток сегодня в трауре, ты сегодня чтишь своих вождей!» и призывом:

Вставай!

Подымись, трудовой
Восток,

Единым
красным станом! (6, 87).

Стихотворение опубликовано в номере газеты, целиком посвященном памяти коммунаров, и «вписывается» в ее общий настрой. 20 сентября вся страна, особенно Закавказье, отмечали этот день. Передовая «Памяти 26-ти». Обращение Исполкома Коминтерна ко всем трудящимся, публикация письма Ленина С. Шаумяну, воспоминаний о Шаумяне, многочисленные фотографии комиссаров, обстоятельства их убийства (обманом заманили в западню, увезли на 207 версту Закаспия, расправились, едва засыпали песком, чтоб тела растащили шакалы и т. д.), суд над убийцами и их пособниками — среди этих материалов стихотворение было вполне уместно. Каждая его строка подтверждалась материалами номера (поведение Закаспийского правительства эсеров и меньшевиков, которые являлись пешками в руках англичан, Джонс, Моллесон сделали угодное английской короне черное дело). Призыв Коминтерна — «Пусть кровь 26 послужит лучшим цементом для сплочения рабочих всего мира! Да здравствует мировая революция!» — перекликался с концовкой стихотворения Маяковского. Грузия, последняя из республик Закавказья сбросившая меньшевистское иго,

широко отметила печальный юбилей гибели 26-ти. Составной частью всего произведения стало и стихотворение поэта.

Следует кратко упомянуть и написанное в сентябре — октябре 1924 года стихотворение «Тамара и Демон». Хотя оно не публиковалось в республике, но трактовало «грузинскую» тему. Лирический образ поэта (в нем легко различить черты самого Маяковского) — это человек сильный, нетерпимый к личным и литературным врагам. Он смотрит на мир с улыбкой, хотя она отнюдь не беззаботна: в бодрых, грубовато-юмористических интонациях угадываются раздраженные потки.

Что можно сказать об этом произведении? Написано оно в переходный период, и соответственно ему должно рассматриваться. Это стихотворение — шутка, еще одна интерпретация темы «Тамара и Демон» (о Демоне говорится мало, это не Тамара и Демон, а Тамара и поэт). В нем легко различимы несколько слов. Один — использование традиционного мифологического материала («нелепой выдумки Лермонтова») для борьбы со своими литературными и прочими противниками. Поэт стремится наносить болезненные удары, здесь явно чувствуются отголоски личной темы, штрихи московской жизни поэта, где, как известно, не все шло так, как ему хотелось. Именно на этом уровне ощутимы следы футуризма Маяковского.

Другой план следует рассмотреть в полемике против

воспевания Терека. Эта традиция укоренилась в русской и грузинской поэзии и связывалась с борьбой за свободу. А Маяковский бующий Терек уподоблял... пьяному Есенину, шумящему в участке, большому любителю диспутов Луначарскому, тем самым принимая как тему, так и упоминаемых деятелей. Очевидны здесь также футуристические пережитки, хотя выступление против традиций можно связать и со стремлением автора при разработке пафосных и патетических сцен обращаться к юмору.

Наконец, хотя произведение можно считать одним из последних, написанных в период становления, исканий поэта, в нем уже проявились черты и нового периода. Дело не только в том, что душа поэта больше не укутана в желтую кофту футуриста, но и в том, что он декларирует свою близость Лермонтову («мы общей лирики лента») и Пушкину («Юбилейное» — «после смерти нам стоять почти что рядом»), и это не только слова. Приходится сожалеть, что это стихотворение не увидело света в Грузии. И если предшествующие стихотворения В. Маяковского рассматривались с точки зрения их значения для грузинской общественности, то «Тамара и Демон» интересно только в смысле роста поэта.

Рассказ о его приезде в Тифлис в 1924 году шел в основном с опорой на воспоминания современников. Иногда делались попытки их дополнить, исправить или опровергнуть. Поскольку

ряды ровесников В. Маяковского редеют, срочно необходимо выяснить, что смогли поведать мемуаристы, о чем умолчали, имеются ли средства исправить это положение? Думается, наиболее верный способ преодоления «кризиса материалов» — повторное ознакомление с материалами прессы для их сопоставления с мемуарными данными. Только при этом условии наши сведения о приездах поэта в Тбилиси могут стать более полными.

А поскольку взаимоотношения В. Маяковского с представителями грузинской общественности были тесными, как об этом свидетельствуют наши литературные деятели, он должен был говорить не только о поэтах и литературе, но и о многих злободневных для того времени вопросах. С этой целью и сделана попытка перечислить некоторые из событий, которые произошли в период пребывания здесь Маяковского и которые могли привлечь его внимание. В дальнейшем в ходе работы круг названных событий, несомненно, расширится, что, надеюсь, пополнит наше представление о пребывании поэта в Тифлисе в 1924 году.

О значении этого посещения в то трудное время сказано достаточно. К сожалению, как отмечалось, его выступления здесь не состоялись. Однако он познакомился со многими представителями художественной и литературной интеллигенции республики, имел с ними встречи, беседы. Главным же итогом этого пребывания В. Маяков-

ского в Тифлисе следует считать публикацию его произведений, которые, выходя за рамки только литературных явлений, становились фактом политики нашего государства. Само появление тут великого поэта современности не могло не иметь важного значения для тогдашней грузинской поэзии. С. Чиковани писал, что в русской поэзии того времени соперничали Маяковский, Есенин, Пастернак... Однако наиболее известным из них был Владимир Маяковский — трибун революции. И когда вождь

поэзии новейшей русской находился среди молодых единомышленников в Тифлисе и доверительно беседовал с ними, то это играло определенную роль в их дальнейшем становлении. Добавим, что и для самого Маяковского этот процесс не мог пройти бесследно, так как он, пытаясь убедительнее изложить свои теоретические воззрения молодым поэтам, формулировал их более просто и четко, отказываясь от футуристических крайностей и фразеологии.



Динара КОНДАХСАЗОВА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ

МНЕНИЕ о том, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только гораздо лучше, давно и прочно завоевало признание. Действительно, кажущаяся его аксиоматичность изначально отрицает возможность поставить эту неоспоримую на первый взгляд истину под сомнение.

Первая часть этой формулы — «писать, как для взрослых» — соблюдается свято. А вот «гораздо лучше» — это случается редко, и потому при обращении к детским книгам часто хочется воскликнуть — «Нет, для детей нужно писать, как для детей!».

Содержание книги Г. Одишария «Семь картин для ребенка» (Издательство «Алашара», 1986, на груз. яз.) просто вызывает недоумение, особенно помещенная в конце сборника одноименная драматическая поэма. Действие поэмы происходит на острове, расположенном в устье реки. Но действие здесь — аллегория, ибо на самом деле никакого действия нет. Структура вещи и персонажи (Облако, Ночь, Скала, Таинственный голос, Паук, Дерево), вся образная система, да и фабула исключают не только действие, но и сценическое развитие сюжета. Что же все-таки про-

исходит? Седьмые сутки идет дождь. Лунная ночь. Поднимается вода, грозя затопить остров. Раздаются то там, то здесь голоса перечисленных выше персонажей, вызывающих вращении Дождя. Тут появляется на дороге мальчик, и вот первые слова, которые он произносит: «В твои распущенные волосы зарывается сон, и глаза у него божественные, моя девочка. Кого призывают руки деревьев, кого удлинит море — превратившееся в лучи...» Монолог мальчика можно было бы продолжить, если бы он не был столь однообразен на протяжении всей пьесы. Правда, герои иногда вступают друг с другом в «диалог», но лишь для того, чтобы вести полные отвлеченной символики рассуждения о тщетности бытия и о вечной силе добра... Мальчик в это время ищет свою возлюбленную. Паук настойчиво плетет сеть, гросьяется далекий вулкан, и густой дым повисает в воздухе. Дождь сменяется засухой. Но Мальчик находит Девочку в белом платье, и сухое дерево покрывается листочками. Ко всему этому необходимо добавить, что поэма-пьеса написана верлибром.

Мы бы не стали столь подробно представлять не заслуживающее пристального внимания произведение, но автор его, судя по лирическим стихам, помещенным в той же книге, человек безусловно одаренный. Возможно, пересказанная нами поэма — его художественный просчет. Но при чем здесь дети и детская литература?!

Ведь совершенно очевидно, что стилистическая высокопарность и символическая метафорика пьесы не имеют ничего общего с предельно конкретным, но гораздо более образным мышлением ребенка. Так надо ли писать для детей так же, как для взрослых?

Вот другая книга — Карло Табатадзе «Улица кончается у школы» (Издательство «Накадули», 1986, на груз. яз.). Автор давно работает в детской литературе. Тут уже не возникает сомнений в поисках адресата, большинство повестей адресовано детям и написано от лица ребенка. Этот традиционный прием позволяет автору добиться непосредственности изложения, задает определенный тон общению с юным читателем. Проблемы и задачи нравственно-патриотического воспитания находятся в центре внимания автора. На глазах у читателей происходит становление личности маленького человека. Мы видим, как постепенно меняется характер шаловливых мальчишек, как они приобщаются к общечеловеческим ценностям, овладевают трудовыми навыками, узнают цену дружбы, постигают историю родины.

Мальчик Бека в повести «Фреска» получает письмо от ребят из Риги, с которыми давно переписываются его одноклассники. В письме — просьба рассказать подробнее о старинной крепости, про которую Бека вскользь упомянул в одном из своих писем. Бека встречается с друзьями, и вместе они решают подняться в ближайшее воскресенье на крепость, чтобы после написать о ней ровесникам в Ригу. Друзья Беки — ребята разных характеров и увлечений. Есть среди них и юный художник, и юная пианистка, и увалень и толстяк Баадур, которого мама ни на шаг не отпускает от себя. Разумеется, ребят в их походе сопровождают педагоги и мама Баадура, который, ко всеобщему удивлению, оказывается смелым и сноровистым мальчиком и выручает своих одноклассников. Параллельно с приключениями юных следопытов развивается и другая линия, историческая, в центре ее мальчик Манучар, ровесник Беки, живший в этой крепости много веков назад в тяжелое для Грузии время борьбы с турками-османами. Манучару приходится не только быть свидетелем испытаний, но и самому участвовать в борьбе с завоевателями...

Повесть «Бессмертие» написана в ином ключе. Это — история становления юного героя, выросшего на берегу маленькой реки в одной из небольших грузинских деревень. С детства мечтает он водить паровозы, и дед его, старый машинист, мечтает о том, чтобы внук продолжил его дело. Тем более, что и отец мальчика, пропавший без вести на войне, тоже был машинистом... Мальчик растет с мыслью о будущей работе, а узкоколейка, по которой долгие годы возил дед из Чиатура марганец, ветшает... Потом подросток попадает в город на завод, на тот самый, где чинят паровозы... Потом приходит известие о том, что в Белоруссии найдена могила отца, и они едут туда всей семьей. Потом умирает дед... Дом пустеет. Мать остается одна. И вот уже было совсем собралась она перебраться к сыну в Тбилиси, но нет — не отпускают ее родные стены, к тому же ведь ей пишут ребята-следопыты из Белоруссии, они должны приехать к ней в гости, нет, она не может покинуть родное село... На смену узкоколейке пришла железная дорога, и сыну, если он вернется, найдется работа по сердцу. Вот и сбудется мечта старого машиниста...

В повести «Улица кончается у школы» отражены проблемы современного школьного воспитания, проблемы взаимоотношения поколений, учеников и учителей.

Нравственно-патриотический пафос названных повестей несомненен. Бесспорно и то, что современные школьники про-

чтут эту книгу. Но найдет ли она отзвук в сердцах? Станут ли ее герои друзьями и советчиками юных читателей? Не заштампована ли проблематика коллизий этих повестей?

И если в книге Г. Одишария ощущается переизбыток умозрительных построений и символики, то К. Табатадзе нельзя не упрекнуть в некоторой прямолинейности.


Книга известного грузинского поэта О. Челидзе «Ахана и Чалхана» («Накадули», 1986, на груз. яз.) адресована самым маленьким читателям. Есть в ней и веселые приключения деревенских мальчуганов (в одноименной пьесе); ощущается и дыхание родной истории («Могила царицы Тамар» — переложение легенды о том, как грузинская царица Тамар повелела похоронить себя тайно для того, чтобы враги, готовящие вторжение в страну, не смогли надругаться над ее прахом). Эти стихотворные поэмы хорошо знакомы грузинской детворе... Однако и на сей раз нам не избежать критических замечаний. Адресованы они издателям. Книга слишком велика для детей. И оформлена без выдумки, блекло. Ведь не только писать, но и издавать книги для детей нужно тоже так, как для детей. И не иначе.

Вот и создается странная картина — с одной стороны настораживает чрезмерная «взрослость», с другой — берет тоска от недостатка «детскости». Но к этому противоречию нам еще предстоит вернуться.

Отнюдь не каждое произведение, героем которого является подросток, есть литература для детей. Период становления человеческой личности, формирования гражданской и нравственной позиций, быть может, одна из самых привлекательных для художника тем. Вот уж когда поистине схлестываются миры и времена, разум и чувство, сердечные поиски и нравственные прозрения. Духовный мир подростка является в этом смысле ни чем иным, как универсальным инструментом познания мира, идеальным зеркалом, отражающим кривые человеческого бытия.

Перед нами две книги грузинских прозаиков: «Мой друг» Б. Чохонелидзе и «Мальчики» Л. Брегвадзе (обе изданы «Накадули», 1986, на груз. яз.).

События, разворачивающиеся вокруг Важи, героя повести Б. Чохонелидзе «Брат», во многом способствуют становлению его личности, характера. Раздоры между родителями (отец часто возвращается поздно и пьяным) сказываются на учебе, мальчик раздражителен, неуравновешен. Со смертью бабушки он лишается возможности бывать в деревне (отец пьет, и род



ственники решили не оставлять ему дом в наследство — (все равно не хозяин) — и из жизни ребенка уходит не только дорогой его сердцу человек, но и весь мир детства. К тому же оказывается, что старшая сестра Нана ждет ребенка, и вся семья становится предметом пересудов для окружающих. Юноше удастся с честью пережить нравственные испытания, которым он подвергается.

Повесть заканчивается на светлой, радостной ноте — рождается ребенок, мальчик, и явление новой жизни примиряет, спланивает семью. А Важа уже перестает быть ребенком — ведь теперь у него есть племянник, о котором надо заботиться, и сестра, которую необходимо поддержать в трудную минуту.

Однако несмотря на высокий нравственный пафос, проблематика повести не то чтобы недоступна, а скорее чужда ровесникам главного героя. Есть в ней элементы назидания взрослым — родителям, родственникам.

В отличие от повести, главным героем которой является подросток, рассказы писателя, посвященные духовным проблемам нашего современника, во многом более содержательны в аспекте нравственно-патриотического воспитания. В рассказе «Мой друг», написанном в форме диалога двух старых друзей, сталкиваются две нравственные позиции. Приход молодого художника к другу — это своеобразная исповедь человека, погрязшего в собственной лжи, которую он старается оправдать тем, что она устраивает его близких. «Ложь во спасение» и на этот раз демонстрирует свою несостоятельность...

Становление нравственных позиций — тема рассказа «История о двух однокурсниках». Один из них — откровенный карьерист, не чужающийся ни лжи, ни обманов. Его уже не терзают угрызания совести, он не задумывается о собственной духовной неполноценности, напротив, даже несколько презрительно и высокомерно относится к однокурснику, своему нравственному антиподу, исповедующему истинные ценности. Друзья встречаются в Москве, куда они приехали по делам, и здесь, вдали от привычного окружения, человеческие качества героев обнажаются с предельной откровенностью.

Есть некая закономерность в том, что этическая проблематика в рассказах, где действуют дети или подростки, оказывается заслонена чисто «взрослыми» сторонами человеческих взаимоотношений. Ребенок или подросток — только зеркало, в котором темные грани жизни взрослых отражаются со всей очевидностью.

Имя Лали Брегвадзе сегодня хорошо известно грузинскому читателю. Это наблюдательный, вдумчивый прозаик, обладающий своеобразным индивидуальным зрением. Психологизм ее рассказов не умозрителен, напротив, весьма органичен. Книга «Мальчики» в целом — одно из немногих настоящих проникновений во внутренний мир ребенка. Герои этой книги — мальчишки самых разных возрастов. Они и похожи друг на друга, и в то же время очень индивидуальны. Объединяет же и сами рассказы, и их героев тема становления личности, тема воспитания гражданина.

Центральная повесть книги — «Последнее лето кентавра». Такое название символично — это последнее лето ребенка, которое им самим же осознается как преодоленный рубеж, за которым начинается новая жизнь взрослого мужчины. Это не только перелом в развитии, но и перелом в сознании. Герой ее — мальчик (пока еще мальчик), живущий в маленьком приморском городе. И естественно, что с наступлением лета, курортного сезона, жизнь мальчика, да и всего города, преобразуется. В повести много событий, много живых, естественных, предельно лаконичных и глубоких по эмоциональной силе диалогов. Но главное, что все это действительно «работает» — и сцена гибели собаки, и прощание Джемала, героя повести, с одной из семи девочек, отдыхающих в пионерском лагере (девочка должна была оставить Джемалу адреса всех семерых, а потом они созвонились бы и выяснили, кому же из них он все-таки написал; но девочке хочется, чтобы он написал именно ей. И мальчик понимает, какие силы борются в ее душе, и сопереживает ей), и его желание броситься с мачты пароходика за улетевшей шляпкой молодой женщины, которая из года в год останавливается в их доме. Джемал вырос, и его больше не обижает то, что дворовые ребята придумывают ему всевозможные прозвища. Да они и сами, словно почувствовав перемену в нем, стали обращаться к нему по имени. Да, Джемал вырос, и об этом догадываются окружающие, и потому муж Магуры разговаривает с ним как мужчина с женщиной. Повесть написана образным и точным языком, но, пожалуй, самое главное в ней — чуткое понимание внутреннего мира подростка.

Мальчик из повести «Праздник» растет в совершенно иной среде: дедушка у него — профессор, мама — музыкант. Протяженность действия повести — всего один день. Но день, значительно радостный даже для ребенка, — день рождения деда. Все, что с ним связано, помнится мальчику с

раннего детства, и застолье, и общие беседы, как венец торжества. И вот на наших глазах традиция наталкивается на жестокую реальность этого дня. Именно этого. Почему? Почему именно в этот день, направляясь в клинику, где работает дед, Паоло неожиданно для себя самого крадет (!) пирожное с уличного лотка. Этот немотивированный шаг влечет за собой длинную цепь последствий: угрызения совести, испуг перед наказанием, боязнь разоблачения, которой выгодно пользуется его ровесник, и в конечном счете перелом в оценке окружающего. Мальчик при посредстве детей и взрослых открывает для себя сложные метаморфозы людских взаимоотношений, которые ему были неведомы до сего дня. В нем вдруг формируется пристальный взгляд на окружающее, и выясняется, что все вокруг, в том числе и дед — достойный в его сознании человек — не так уж и безгрешны. А за столом, как всегда в этот день, праздничное веселье завершает свой неизменный ритуал.

Процесс духовного становления человеческой личности — вот предмет исследования писательницы. Это — благодатный и достойный материал, и не всякому художнику дано справиться с ним. Лали Брегвадзе удалось многое, и думается, читатели с интересом прочтут эту книгу.

Вряд ли можно определить как произведения для юношества книги, в которых коллизии детского сознания, пусть даже талантливо, но трансформируются в инструмент познания природы человека. Вот и получается, что произведения эстетически значимые, интересные в художественном отношении оказываются этически неправомерными.

В книгу Г. Натрошвили «Сон» («Накадули», 1984, на груз. яз.) вошли произведения, написанные писателем в разные годы и хорошо известные грузинскому читателю.

Сборник М. Поцхишвили («Накадули», 1986, на груз. яз.), напротив, составлен из стихов, написанных недавно.

В этих книгах нет или почти нет детских персонажей. Но именно подобная литература, пронизанная высоким гражданским и духовным пафосом, является надежным фундаментом, на который должно опираться нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В предисловии к своему сборнику М. Поцхишвили пишет, что его книга — исповедь поэта, выразившего доверие молодежи своей страны, и действительно, в этой книге «жизнь бьется, как сердце в кардиологическом мониторе». И доверие, о котором говорит автор, сопряжено с высокой требователь-

ностью к себе и читателю. Любовь к родине, к народу, к матери, высокие нравственные идеалы, бескомпромиссность, искренность, истинные человеческие ценности — вот основные темы стихов. Творческая манера поэта — броская, подчас плакатная образность, публицистичность, окрашенная мягким лиризмом. Удачно найденный тон общения с читателем — поэт говорит открыто и от чистого сердца — во многом обусловил широкую популярность его стихов. Необходимо отметить культурно-просветительскую значимость этого сборника. В книге много исторических реалий, мифологических образов, поэт активно пользуется наследием мировой культуры, в которой с наибольшей очевидностью преломляются тенденции и факты грузинской истории.

Сборник Г. Натрошвили «Сон» тематически разнообразен. В нем отражено и историческое прошлое Грузии, и события гражданской и Отечественной войн, и сегодняшний день республики. Знание родной истории — необходимое условие становления сознательной личности. Писатель находит интересную форму для того, чтобы изложить историю и трагедию жизни двух великих представителей грузинской литературы: Давида Гурамишвили (рассказ «Сон») и Ильи Чавчавадзе (рассказ «Убийцы»). Рассказы эти не просто информативны, но и пронизаны истинным гражданским пафосом и многое говорят сердцу читателя.

Предельно откровенны строгие, лаконичные рассказы о Великой Отечественной («Ребенок», «Мама»). Рассказ о времени гражданской войны («Поезда не будет»), напротив, не лишен романтических красок — это история о том, как юная революционерка везет листовки в белогвардейском бронепоезде на виду у вооруженных до зубов солдат и офицеров, везет тем самым рабочим, для подавления которых послан бронепоезд. Есть в книге наряду с этими произведениями, очевидно удовлетворяющими традиционным представлениям о нравственно-патриотическом воспитании, веселые и лукавые истории и переложения бытующих в народе легенд и сказаний («Тайна мастера», «Сказка сирот»). Ни названиями своими, ни темами они словно и не сопрягаются с интересующей нас проблемой. Но в действительности в подобных рассказах раскрывается, как правило, обширнейший пласт морально-нравственных проблем, восходящих в конце концов к принципиальным в воспитательном отношении этическим коллизиям, свойственным фольклору, сказкам и легендам, доньше живущим в народе.

Исходя из рассмотренных нами книг, можно сказать, что

в разряд наиболее действенных в смысле воспитания подрастающего поколения в данном случае попали именно те, которые словно бы и не адресованы именно детям. Да, это так. И в этом, как ни странно, нет противоречия. И Илья Чавчавадзе, и Важа Пшавела, и многие большие грузинские писатели писали для детей (да и для взрослых); именно опираясь на сказания, легенды, исторические песни народа. То же можно сказать и о русских писателях. Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Алексей Толстой, А. Платонов использовали народные мотивы и делали переложения народных сказок. Все дело в том, что сказка, былина, исторический материал требуют от читателя (особенно юного — ему доступней) образного целостного мышления и, будучи использованы как основа для современного произведения при умелом обращении, сохраняют качество целостности принципиальных и морально-этических представлений, которые, как правило, составляют назидательный стержень народных сказаний.

Современная же художественная литература, делая ребенка центром повествования, анализирует факт его повзреления, рассматривает борьбу, идущую в детском сознании, борьбу между идеалом (уже сформированным) и действительностью, борьбу, результатом которой всегда может стать либо компромисс, либо ломка. Вот ситуация, благодаря которой в разряд книг для детей попадают книги, повествующие о разрушении детского сознания — процессе естественном, необходимом, но методологически в корне противоречащем этическим задачам детской литературы. Это противоречие закономерное, неизбежное. Так писали и Филдинг, и Диккенс, и Достоевский. Но они решали скорее всего проблемы детей, а издательство должно решать проблему изданий для детей. А для этого необходимо определить принципы отбора, тогда можно будет в полной мере судить о соответствии книг для детей задачам нравственно-патриотического воспитания.



„ГОДЫ НАД НАМИ НЕ ВЛАСТНЫ...“

ПИСЬМА НИКОЛАЯ ТИХОНОВА
К САНДРО ШАНШИАШВИЛИ
И СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Письма Николая Тихонова к Сандро Шаншиашвили и Симону Чиковани, хранящиеся в фондах Музея дружбы народов АН Грузинской ССР, представляют почти полувековую летопись содружества двух литератур. Они являются прекрасным образцом постоянного духовного и творческого общения выдающихся писателей нашего времени.

В этих письмах хорошо прослеживается любовь Н. Тихонова к Грузии, к ее людям и природе, к грузинской литературе.

Грузинская тема — одна из наиболее значимых в его творчестве. Она получила отражение в поэме «Дорога», стихотворных циклах «Стихи о Кахетии», «Грузинская весна», «Стихи о Тбилиси», «Радуга в Сагурамо», в прозаических произведениях «Клятва в тумане», «Мамисон», «Я люблю вас, горы», «Цхнетские вечера» и других, а также во множестве статей о Грузии, ее природе, литературе и искусстве. «Грузия — это радость и богатство души! Ее искусство и литература вечно молоды и с глубокой древности являют примеры великого вдохновения», — писал Н. Тихонов¹.

Первое знакомство поэта с Грузией состоялось в 1924 году. С тех пор он не упускал случая побывать здесь. Был не только желанным гостем своих собратьев по перу, но и дорогим и любимым человеком для всего грузинского народа. По словам Г. Леонидзе, «нет уголка в Советской Грузии... где бы ни ступила нога Тихонсва — собрата, а не туриста. Он пришел в Грузию не в поисках ориентализма и экзотики — пришел к нам как товарищ, строить с нами новую жизнь и новую поэзию. Он пылливо всмат-

¹ Н. Тихонов. Избранное, т. 1, Тбилиси, «Мерани», 1978, с. 11.

ривался в жизнь народа, прислушивался к ритму его труда и творчества»².

Как известно, накануне Первого съезда советских писателей по инициативе М. Горького в Грузию с целью ознакомления с грузинской литературой и перевода ее образцов на русский язык приехала группа русских писателей, в которую входили П. Павленко (руководитель), О. Форш, Н. Тихонов, В. Гольцев, Б. Пастернак (который к тому времени уже переводил и грузинских поэтов).

Первая книга переводов Н. Тихонова современной грузинской поэзии вышла в 1935 году в Тбилиси в Закавказском государственном издательстве. Начиная с этого времени он перевел на русский язык древнейший народный эпос об Амирани, произведения Н. Бараташвили, И. Чавчавадзе, А. Церетели, Важа Пшавела, наших современников Т. Табидзе, П. Яшвили, Г. Табидзе, Г. Леонидзе, С. Чиковани, С. Шаншиашвили и многих других. Оценивая его переводы, И. Абашидзе справедливо отметил, что «решающим для достижения успеха здесь являются живые впечатления от тех краев, по которым он много путешествовал, знание их истории, своеобразия традиции и культуры. Все это помогло Н. Тихонову компенсировать недостаточность подстрочников... Успех здесь был предопределен, ибо Николай Семенович отлично изучил новый для себя поэтический мир, новый языковой климат. Но Николай Тихонов пошел еще дальше — установил прочные творческие и личные контакты с самими поэтами, которых переводил. В его переводах учтены с поразительной чуткостью и уважением не только характер и своеобразие народа, но и индивидуальность автора»³.

Грузинский народ выразил свою любовь выдающемуся русскому поэту, присвоив ему свою самую высокую награду в области литературы и искусства — премию имени Шота Руставели.

Любовь и дружеские чувства к Сандро Шаншиашвили, к его гостеприимному дому Н. Тихонов сохранял на протяжении всей своей жизни. Вот как об этом сказал он сам: «Это поэтическое жилище — приют поэтов и поэзии. На стене в комнате есть надпись на двух языках — русском и грузинском. Это своеобразный поэтический договор между русскими и грузинскими поэтами на

² См.: Предисловие к сборнику Н. Тихонова «Ибранное. Стихи о Грузии. Грузинские поэты», Тбилиси, «Мерани», 1978, с. 3.

³ И. Абашидзе. Друзья, дороги, раздумья. Тбилиси, «Мерани», 1979, с. 73—74.

мир и дружбу, и он гласит, что... в Джугаани могут собираться поэты любых стран и народов во имя дружбы народов на праздник поэзии»⁴.

Большая дружба связывала Николая Тихонова с Симоном Чиковани. Его поэзию он называл «миром высоких радостей», отмечал своеобразие поэтического восприятия грузинского поэта. Николай Семенович высоко ценил С. Чиковани как человека, поэта, общественного деятеля, считал его своим другом по духу. Обращаясь к С. Чиковани, он писал:

Я тебя, как никто, понимаю,
Как собрат по стихам и судьбе,
Я всем сердцем тебя обнимаю
И стихом салютую тебе!⁵

Доказательством душевных, дружеских отношений Н. Тихонова с С. Шаншиашвили и С. Чиковани и служат его письма к ним, впервые предлагаемые читателям журнала «Литературная Грузия».

Кисловодск, 6 ноября 1934 года.

Милый друг Сандро!⁶

Вчера ночью я получил письмо из Тифлиса, где среди других дружеских строк ты написал: «Мы, а не век разрешает вопрос, поэзия выше». Это совершенно истинно. Это я ощущал и в твоей солнечной Джугаани, и в ленинградских туманах, и в снежных горах. Мускулы поэтических ощущений напрягаются от колоссальной искренности, а не от умственных упреждений, пусть даже на высокую тему. Солнце стиха остается в зените по воле автора. Мы растеряны в необозримых пространствах, и когда встречаемся, нам никогда не хватает времени. Мы больше верим друг другу, чем знаем друг друга. Но я уже знаю, что в Тифлисе, на улице Бесики есть дом, где я могу всегда у порога положить дорожный мешок, а ты тоже знай, что в Ленинграде, куда ты должен все-таки приехать, — есть тоже убежище друзей, где будут читать «Кахе-

⁴ Н. Тихонов: Избранное. Тбилиси, «Мерани», 1978, т. II, с. 314—315.

⁵ Н. Тихонов. Там же, т. I, с. 112.

⁶ Личный фонд С. Шаншиашвили, № 18, единица хранения 263. Приводимые в настоящей публикации письма цитируются по данному фонду.

тинскую невесту»⁷ и знать, что это такое. Ты хороший поэт, Сандро, и я не успокоюсь, пока мы не сделаем, не торопясь, книги стихов. Ты не должен забывать об этом.

Я перевел твоё стихотворение «Иосифу Сталину» и посылаю с этим письмом. Я очень повозился с ним, пробовал разные размеры и подходил с разных сторон. Если тебе перевод не понравится, все-таки напиши мне и я еще раз попробую его переработать. Оно очень трудно для перевода, если переводить всерьез.

Ты обещал прислать еще свои пьесы. Смотри не раздумай. Мы их сможем напечатать и посмотрим, нельзя ли устроить их в театры. Когда ты сам приедешь — я сведу тебя с драматургами, ты поживешь хорошо.

Ты напишешь стихи о Ленинграде. Мы обменяемся поэтическим салютом — стихи о твоей Кахетии я обязательно напишу. Я уже раздражен и остановиться не могу. Я болен стихами.

Сделай мне, пожалуйста, одно дело в Тифлисе. Чудный малый Ило Мосашвили дал мне несколько своих стихотворений без единого грузинского слова. Как же мне переводить! Тебе легко, Сандро, внушить ему, что я очень хочу его перевести и не имею, по его неторопливости, никаких возможностей. Если же он забыл, какие стихи дал, то на отдельной бумажке я выписываю их. Сделай мне это из кахетинского патриотизма. Я обязан тебе многим, милый Сандро, но я думаю, что мы дружески сосчитаемся. Благодаря тебе я увидел Кахетию, незабываемые дни в которой проведенные заставляют меня мысленно переживать их все с новой силой. Мы плохо осведомлены о будущем нашем, но все же, я думаю, что еще не однажды мы увидим вместе благословенные леса и горы Грузии, приветствую тебя, и Маро, и девочек⁸, крепко обнимаю и жду письма. Передай привет всем моим и твоим друзьям.

Любящий тебя Н. Тихонов

Маруся шлет лучший привет.

Да. Забыл: если достанешь — пришли мне грузино-русский словарь и учебник грузино-русский. Без этих вещей трудно освоить грузинский.

Н. Тихонов

⁷ Стихотворение С. Шаншиашвили.

⁸ Дочери С. Шаншиашвили — Циала и Латавра.

Милый друг Сандро.

Я очень был тронут твоим письмом. То, что тебе — току поэзии — мои стихи о Кахетии искренне понравились, — говорит о том, что моя рискованная попытка после прекрасных стихов грузинских поэтов — воспеть Кахетию и в ее лице Грузию, все-таки удалась⁹.

Конечно, не все стихи мои одинаковой силы. Иные хромают, иные слишком простодушны, чуть более, чем следует.

Вдвойне рад я, что Маро¹⁰ взяла под свое высокое покровительство мои стихи. Им будет веселее жить на земле с ее именем. Стихи же и принадлежат ей по праву.

Пьесу твою «Арсен» жажду видеть у себя и, конечно, переложу ее стихами, как нужно, потому что я люблю и твои стихи, Сандро, и рад буду тебе услужить. Сам я попадаю в Грузию только в будущем году.

Сейчас я во власти новых стихов. Бес стихотворства снова ожил в моих бедных костях, и я убежал из города от шума заседаний и телефонных звонков в Петергоф.

Гуляю в парке, где метет осень сухие листья, и вспоминаю прошлогодние Цинандалы и наши шумные встречи.

Стихи я пишу об Европе — о печальном Западе, о грусти осеннего человечества, хочу, чтобы книга получилась теплой и человеческая.

Прошу тебя, если будет возможность, передай мой привет и благодарность Тамаре Абакелия¹¹, она же Каладзе, за прекрасные гравюры, что она сделала для тетради моих Кахетинских стихов¹².

Я затерял куда-то ее адрес — а мне хочется ее поблагодарить. Я видел гравюры в Москве — там в издательстве все довольны.

Что нового в Тифлисе? В будущем году 15-летие Советской Грузии, не правда ли? Если ты такой гордый, что не едешь в Ленинград, то я подымусь сам — доберусь до чудесного Тифлиса.

⁹ Н. Тихонов создал цикл «Стихи о Кахетии».

¹⁰ Супруга С. Шаншиашвили, которой Н. Тихонов посвятил «Стихи о Кахетии».

¹¹ Т. Абакелия (1905—1953) — скульптор, график, театральный художник, супруга поэта К. Каладзе.

¹² Иллюстрации к книге Н. Тихонова «Стихи о Кахетии» (М., «Советский писатель», 1935) были выполнены Т. Абакелия.

Мы заберемся на гору и посидим вечером, как отшельники. Буду рассказывать тебе разные разности — а ты будешь читать свои новые стихи. Подошли их мне — я их любилею переведу и напечатаю в Москве и в Ленинграде.

Я бы попал на Кавказ в этом году, но меня унесло на Запад. Я очень рад, что в Джугаани и на горе Давида все благополучно.

Кажется, мои переводы все-таки увидят свет — выйдут вместе с пастернаковскими в Тифлисе¹³.

Ты прав — жизнерадостная поэзия необходима, как воздух.

В Европе воздух так пахнет кровью, как на арене после боя быков или просто на бойне. Ты бы не узнал Германии, к которой так лежало твое сердце. Это не та страна. Маленькие демоны захватили власть над ясностью германской души и замучили эту душу.

Привет Маро и девочкам твоим. Привет всем тифлисским друзьям, которые меня не забыли.

Марья Константиновна шлет самый горячий поклон.

Николай Тихонов

Пиши, пожалуйста, о себе — по моему старому адресу — городскому.

Москва, 29 марта 1942 года

Милые друзья Сандро и Маро!

Ужасно рад случаю написать вам и хоть письменно обнять от всего сердца. Из Ленинграда письмо, вероятно, дойдет к вам после окончания войны. Я пользуюсь случаем писать из Москвы. Это письмо передаст вам молодой ленинградский сценарист тов. Попов¹⁶, находящийся сейчас в армии. Как далеко теперь от меня чудесные тбилисские вечера в милом доме Сандро и Маро по улице Мачабели, а Джугаани кажется просто золотой сказкой.

С тех пор прошло сто лет — и каких! Вы знаете очень отдаленно, что Ленинград до сих пор в осаде, в блокаде. Как там люди жили эту зиму, вам даже невозможно себе представить. Вероятно, и до вас все-таки добираются ленинград-

¹³ Это первая книга переводов современной грузинской поэзии «Грузинские поэты», которая вышла в Тбилиси в 1935 году в Закавказском государственном издательстве.

¹⁶ Предположительно — В. П. Попов, прозаик, кинодраматург.

ы, и они вам расскажут подробно обо всем, что пережил наш город. Не дай вам бог, дорогие друзья, видеть и переживать десятую долю этого.

Мне очень тревожно за милый Тбилиси, за всех вас. Эта окаянная война может накинуться и на Кавказ. Ее не разберешь, куда она еще кинется. Ну, уже то хорошо, что вы жили мирно и тихо это время.

Сейчас на дворе весна, и мои ноздри чувствуют запах гор, уши слышат первые весенние лавины в горах, а глаза хотели бы хоть на минутку видеть вас, мои дорогие, потому что ничего неизвестно, когда мы еще увидимся.

Скажу кратко о себе. С первых дней войны я работал в армии, бывал на фронте, затем выдерживал все эти бомбежки и бомбардировки, которые нам порядком наскучили. Приехал в Москву в командировку и скоро поеду обратно.

Потерял я в эту зиму мать, брата, тестя — и мужа сестры моей и мужа сестры Маруси — Ирины. Одним словом, в наших двух семьях я остался единственным мужчиной. Маруся выдержала все ужасы совершенно героически. Я порой просто удивлялся ее мужеству, ее удивительному и чудесному характеру, ее человеколюбию и железной воле.

Холод и голод, тьма и прочие лишения косили людей больше, чем на фронте. Город значительно пострадал. Сейчас его обстреливают ежедневно и очень сильно. Но все уже привыкли к этому, и никого не удивишь ни выдержкой, ни спокойствием.

Я пишу книгу прозы и стихов о Ленинграде¹⁷. Не знаю, даст ли мне судьба срок окончить ее, но очень мне хочется ее дописать. Кое-какие рассказы я печатал уже в «Правде», может быть, они попадались и вам?

В снегах Ленинграда мы часто вспоминали вас и радовались от души, что ужасы войны от вас далеки. Иногда да боли хотелось перенестись в Тбилиси, но только во сне это было нам доступно.

Посмотрим — все бывает на свете, а вдруг мы как-нибудь и увидимся. То-то вспомним все сразу — и хорошее, и плохое, и порадуетесь встрече.

Пока от своего и Марусиного имени приветствую вас горячо, желаю вам и девочкам (поди, они стали красавицы)

¹⁷ Очевидно, книги Н. Тихонова «Огненный год» (М., «Советский писатель», 1942) и «Ленинградский год. Май 1942 — 1943» (Л., Военное издательство, Н. К. О., 1943).

счастья и удачи, что сегодня чрезвычайно важно. Живите мирно, вспоминайте далеких ленинградских друзей и помните, что вас, милые мои, помнят и любят, и никакая вражеская атака и блокада этого не в силах разрушить. Попробуйте написать письмо в Ленинград о себе — авось, дойдет. Крепко, крепко обнимаю вас, Сандро и Маро, чудесные друзья, и милых девочек!

Живите хорошо, дружно, и чтоб были стихи у Сандро, и побольше!

Н. Тихонов:

2 июня 1944 года

Милый друг Сандро.

Сердечно тебя благодарю за память и дружбу. Твои простые дары и вино были как прикосновение к родной кахетинской земле. Так живо встали далекие картины прошлого, такие хорошие, такие дружеские. Я снова представил себе тебя в Джугаани среди природы, празднующей новую весну. Как бы я хотел быть там снова сейчас — увидеть своими глазами горы и холмы Грузии, просторы, голные поэзии и мира, тишины, труда, сесть за стол с милой Маро и с чудесными твоими девочками.

Война терзает нас уже три года. Сколько прошло событий, сколько исчезло хороших людей и друзей. Будет же когда-нибудь, я верю, такой вечер, когда я сяду с тобой и расскажу тебе сразу все, что было со мной, а ты мне расскажешь, как ты жил в эти годы.

Ужасно сожалею я об одном — что по моей вине не успел я перевести твои стихи — не вышла книга твоих стихов. Если бы не война, да если бы я поторопился... Ну, зато после войны — это мой долг дружбы, и я это сделаю.

Очень хорошо, что ты задумал написать поэму. Кто сказал, что сейчас не время поэзии? Да как раз голоса поэтов и слышны над полями сражений. Пример: успех поэтической декады грузинских поэтов в Москве¹⁸. Очень жаль, что тебя не было с ними. С другой стороны, я благодарю небо, что Грузия не испытала ужасов войны и что твой дом стоит незыблемо, как стоял. Хватает того, чего мы хлебнули в Ленинграде.

Пожалуйста, живи хорошо и будь счастлив. Желаю тебе всяческого успеха в жизни. Очень, очень хочу увидеться. При-

¹⁸ В мае—июне 1944 года в Москве проходили вечера грузинской литературы и музыки.

вет от меня и от Марии Константиновны самый горячий Маро и девочкам: Цисни и Латавре. Они, наверно, уже забыли меня, как я прощался с ними в сентябре 1939 года, когда так долго улетал из Тбилиси, — а я их помню хорошо.

Горячо обнимаю вас всех и приветствую от всего сердца. Надеюсь, что увидимся, и скорее, м. б., чем думаю.

Твой Николай Тихонов

26 сентября 1957 года

Дорогие друзья Сандро и Маро.

В этом году на меня ополчились самые разные болезни. В начале мая врачи нашли у меня полное переутомление и запретили работать и заседать. Я проводил время на даче, лечась отдыхом и воздухом.

Состояние духа у меня было великолепное, но врачи говорили, что я могу падать в обморок где угодно: на заседании, на прогулке, в саду и дома. [...]

Несмотря на болезни и такое их обилие, я писал стихи и прозу.

Я написал наверно известный тебе рассказ «Цхнетские вечера»¹⁹, написал 4 небольших октябрьских рассказа²⁰, несколько статей и подошел к главной своей работе — поэме с Серго Орджоникидзе.

Эту поэму я задумал еще в 1936 году при жизни Серго.

¹⁹ В апреле 1957 года Н. Тихонов написал рассказ «Цхнетские вечера» и послал его для публикации в первом номере журнала «Литературная Грузия». Рассказу было предпослано следующее предисловие:

«Дорогие друзья!

Я был чрезвычайно рад узнать, что в Грузии будет выходить новый журнал «Литературная Грузия». Давно следовало ожидать появления этого журнала. Он будет местом встречи грузинских и русских литераторов, даст возможность многим авторам напечатать свои рассказы и стихи непосредственно в Тбилиси, что еще больше усилит нашу дружескую связь.

Для журнала «Литературная Грузия» я посылаю свой рассказ «Цхнетские вечера».

Приветствую всех друзей от всего сердца. Николай Тихонов». См.: «Литературная Грузия», 1957, № 1, с. 34.

²⁰ Это — «Начало эры», «Счастливая улица», «Путь Октября», «Перед дворцом». См.: Н. Тихонов. Начало эры. М., «Правда», 1958.

Тогда я собирал материалы по истории гражданской войны в горах Северного Кавказа и встретил имя славного Серго Глужи Ингушетии. [...]

Я бросил поэму, считая, что осуществить ее невозможно при этих обстоятельствах. Но сейчас обстоятельства изменились, и я пишу эпизод, романтический и героический, совсем в твоём духе. Я пишу для себя, повинуюсь только зову сердца и ни о чём другом не думая.

Первую часть закончил — и сдал в журнал «Знамя»²¹. Как будто гриняли ничего — редколлегия понравилась. Вторую часть сейчас гоню вовсю.

Должен её окончить в октябре. Так ею полон, ничем другим серьёзно заниматься не могу. Как вот только мой заснувший радикулит? Что если этот зверь снова надумает броситься на меня?

Я получил от Союза четырехмесячный отпуск — до 3 ноября. Ну, ладно, если мне повезет и здоровье мое останется на прежней позиции, то я приеду в Тбилиси — на юбилей Чавчавадзе²². Если радикулит разгуляется — придется остаться и бороться с ним до победы.

Как же живешь ты, что ты подделываешь, добрый, славный наш Сандро? Как дорогая Маро, как дочери, семейство, внуки и внучка? Как Джугаани, орлиное гнездо добрых стихов? Как урожай?

Столько вопросов хочется задать сразу, но еще больше — хочется повидать вас всех. Вот уж действительно — рад бы в рай, да грехи не пускают.

Но, может быть, все-таки удастся сдвинуться в октябре. Хорошо бы! Когда я пишу поэму, я мысленно переносюсь в горы и вижу Кахетинскую долину и Джугаани в багрянце и золоте осенних дней. Наши все здоровы и обнимают. Мария Константиновна всех целует. Я тоже. Напиши о себе, как ты живешь, что делаешь, как здоровье всех.

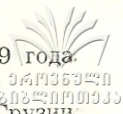
Н. Тихонов

Сердечный привет всем тбилиским друзьям!

²¹ Поэма «Серго в горах», опубликованная в журнале «Знамя», №№ 10—11—12, 1957.

²² На 120-летие со дня рождения великого грузинского писателя Ильи Чавчавадзе (1837—1907), отмечавшееся 19—22 октября 1957 года в Тбилиси, Н. Тихонов приехать не смог.

31 августа 1959 года



Дорогие, милые друзья Сандро и Маро!

Приветствую вас сердечно! Сегодня я побывал в Грузии

— мне так явственно приснились Джугаани и ее окрестности, я так долго гулял по этим замечательным холмам, сидел на балконе прославленного дома Шаншиашвили и любовался новым виноградом, свешивавшим свои изумрудно-янтарные кисти и нежные ветви в руки...

Это был такой сон, точно он хотел возместить несостоявшуюся мою поездку.

Я так распланировал свою работу, чтобы в конце августа, ну, даже в начале сентября добраться до Грузии, повидать друзей, посмотреть на Тбилиси...

Но совершенно неожиданно меня предупредили, что я должен во второй половине сентября отправиться в Китай. Там будет празднование десятилетия Китайской Народной Республики.

Мне нужно возглавлять делегацию и своевременно приготовить два больших доклада и несколько выступлений. Я едва сумею уложиться в те немногие дни, что остались до поездки.

Я ничего не смог изменить в этом, так как я являюсь заместителем Общества советско-китайской дружбы, которому тоже исполняется десятилетний юбилей...

Так не состоялись мои задуманные планы, но это все не закрывает перспектив, не правда ли?

Чтобы как-нибудь возместить себе урон в грузинской теме, я отыскал и хочу кончить стихотворение, в свое время начатое, — о том, как некий поэт жил и работал на мельнице в Чиаурском лесу и собирал народные сказания и легенды²³.

И еще одно стихотворение — о посещении Чаргали, дома, где жил и работал Важа Пшавела²⁴. Как окончу их — так пришлю тебе, дорогой Сандро. Это будет моим приветом с Севера. [...]

Мы жили, таким образом, тихо и мирно в Герделкино. Я работал с утра до вечера, но каждый день ходил гулять по нашим скромным лесам. Летс было капризное — и с жарой, и с холодом.

²³ Стихотворение Н. Тихонова «Песня о лесе», которое вошло в цикл «Новая встреча» (1970—1975).

²⁴ Стихотворение «Образ поэта», вошедшее в цикл «Настали дни стихов!...» (1950—1963).

Почему еще мне сегодня приснилась Грузия? Вчера по радио вечером передавали рассказ Виктора Шкловского о встрече молодого Маяковского с Пиросманашвили в духане. Так пышно описывался тот пир, что невольно я вспомнил прошлые дни...

Мария Константиновна здорова и всех вас, и все семейство, весь род благородных потомков руставелевских стихов, обнимает. Я вас крепко, крепко прижимаю к своему сердцу.

Все наши сердечно вас приветствуют! Сегодня кончается август, кончается лето. Но мы с Сандро любим осень не меньше лета! Правда? Будьте здоровы и счастливы! Ваш всегда

Николай Тихонов

Привет всем друзьям!

15 сентября 1962 года

Дорогой Сандро!

Ты не можешь себе представить, какую радость доставило нам с Марусей твое дружеское письмо и сердечный привет твой и милой Маро в наше уединение.

Для того, чтобы тебе стало все понятно, я хочу рассказать подробнее, какую жизнь мы вели и ведем сейчас.

Как ты знаешь, вся весна была очень хлопотливой. Тут пришлось и заканчивать работу Комитета по Ленинским премиям, и ездить по депутатским делам (меня снова выбрали в Ленинграде), лететь в Швецию, в Стокгольм по подготовке конгресса в Москве.

Потом надо готовить всесоюзную конференцию в Москве, переизбирать весь Комитет защиты мира — меня опять выбрали председателем. Прошла и конференция. В июне в Москве, как тебе известно, состоялся Всемирный Конгресс за всеобщее разоружение и мир. Он окончился 10-го июля, а гости не разъезжались еще 2 недели.

Я с великим трудом получил с 1-го августа отпуск творческий — для писательской работы.

Еще прошлый год я начал писать страницы воспоминаний о друзьях и товарищах прошлых лет. Я написал о Серафимовиче, о Луговском, о Павленко, о Саянове, о Вишневском.

Издательство предложило мне издать книгу этих воспоминаний, включив еще и других писателей. Я согласился, а договор требовал, чтоб я всю книгу сдал в марте этого года. Где там!

И вот теперь издательство требует с меня эту книгу. А

я только с 1-го августа мог засесть за эту книгу, чтобы про-
должать ее.

И представь себе, что когда я писал воспоминания о том, как Фадеев, Самед Вургун и я из Баку, после охоты на турочей и фазанов, приехали вечером в Джугаани в гости к тебе, — я получил твое письмо.

Мне было вдвойне радостно читать твои слова и вспоминать тот незабываемый вечер, который теперь вошел в книгу воспоминаний...

И сейчас я, если мне не будут мешать, вызывая меня на разные заседания в город, могу хорошо работать, а уехать не могу, потому что все материалы здесь в Москве.

Кроме того, у нас ушли сторожа и мы не можем оставить дачу одну, а никого у нас нет. Но главное — книга. Ее надо кончать во что бы то ни стало. Если сейчас не окончу — никогда не окончу. А это — нельзя, во всех отношениях — нельзя!

Лета у нас не было. Дожди нас залили так, что мы скоро будем квакать, как лягушки. Дожди повалили в саду все цветы. [...]

Дожди льют и сейчас. Просто такого жуткого лета давно не было. И ранние холода. Ждем, вот-вот ударят заморозки и пойдет снег.

Очень ранняя осень! И, значит, близка зима! А как, наверное, славно в Джугаани! Мое воображение рисует мне всю красоту замечательного места! По слухам, у вас жара до 30°. Правда ли? Ну, пусть у вас все будет хорошо и в саду, и в доме. А в семье чтобы никто не болел и всем была бы удача в делах! Очень хотели мы в Джугаани, да вот не получилось. Зато весь следующий летний период я планирую кавказский. Вот тогда, авось, нам повезет. В будущем году я хотел заняться книгой о Кавказе — подытожить мои все поездки и объединить их, заключив времена и разные области гор — в одно сочинение.

Я думаю, что в этом году я все-таки закончу эту книгу воспоминаний, и с плеч свалится большое обещание.

Как живут наши дорогие шаншиашвилевские потомки, внуки и внучки, а скоро, гляди, и правнуки появятся?!

А как поживают их уже почтенные родители? Надеемся, что вы все здоровы и все благополучно.

Еще раз большое, большое спасибо за дружескую память, за сердечное приглашение. Джугаанское пребывание в прошлом году — это поистине райские воспоминания. [...]

Кланяемся с благодарностью хозяевам этого поэтического уголка, дорогим, незабываемым друзьям нашего сердца
Маро и Сандро.

Шлем самый жаркий привет из холодной Москвы жаркой Кахетии.

Обнимаем горячо все вместе, всем домом!

Целуем вас тысячу раз!

Будьте счастливы, дорогие!!!

Мария

Николай Тихонов

Р. С. Пишите, пожалуйста, как живете. Над чем работает Сандро? А где его воспоминания, которые я хотел читать?..

Н. Тихонов

28 июня 1963 года

Дорогие, милые Маро и Сандро!

Пишу вам и говорю с вами, как будто сижу за одним столом в хороший теплый вечер и нам некуда торопиться. Если это в Тбилиси, то мы слышим глухой, бесконечный шум уличной жизни, если мы в Джугаани, то шум листвы, колеблемой легким ветерком, долетает до нас, и все загахи цветущей Алазанской долины...

Но мы и как будто стоим на высоком перевале, и отсюда с высоты, на которую мы долго всходили, видна вся пройденная жизнь. Я стою несколькими шагами ниже тебя, потому что приближаюсь к твоему большому дню²⁵, но ты раньше меня вышел в дорогу, неутомимый мой Сандро!

Тебе, дорогой Сандро, видна вся скупость отпущенного природой человеку времени, все богатство души и вся красота окружающего нас мира! Тебе — 75 лет! Это и много и мало, а вообще — раз уже приходится считать — то это в самый раз!

Потому я не тороплюсь поздравить тебя просто, а я хочу поговорить не на трибуне, а сидя рядом с тобой в такой хороший день нашей жизни, нашей старой дружбы!

И Маро с нами обязательно за этой беседой! И Мария Константиновна, которая носит в себе большую любовь к неповторимым джугаанским дням, навсегда вошедшим в нашу память и сердце!

²⁵ К 75-летию со дня рождения С. Шаншиашвили.

²⁶ Осенью 1948 года отмечалось 60-летие со дня рождения С. Шаншиашвили.

Я знаю, что твой праздник будет народно отмечен осенью, как это уже было раз, я это хорошо помню...²⁶ Я думаю, что это хорошо, что будет осенью, неповторимой грузинской осенью, когда щедрость природы и ее мудрость особенно ощутимы в свете кахетинских дней с полновесной листвой и мажари, плещущим, как ручей поэзии и дружбы!

А сегодня я хочу заново перелистать страницы стихов и стихотворных пьес твоих, Сандро, и окунуться, как в свежую прохладу гор и лесов, в свежесть твоего вдохновения, в ясность твоих поэтических раздумий, в большой мир созданных тобой образов. Они все живы не только в моей памяти, не только в моем воображении, их знает и помнит народ!

Ты проходишь, как полководец, по рядам своего поэтического войска и видишь, что годы не состарили этих закаленных в боях поэтических витязей, не состарили твоих красавиц, не убавили силы народного гнева или смелости героев, вставших за народ и будущее...

Предков дух в потомках ожил,

Любят труд они и радость...²⁷

Это твоя Кахетия, твои сыны и дочери, твои песни и мысли!

Ты вписан в историю народа, и широко известно твое имя!

Хорошо, что ты весь от земли, от гор, от неба, от жизни! И я буду очень счастлив повидать тебя осенью и повторить это не на расстоянии, а лично, при встрече.

Ты можешь с гордостью исполненного долга посмотреть со своего высокого перевала на дорогу жизни, вьющуюся внизу по долине, теряющуюся в холмах!

Много труда, много испытаний, много борьбы испытал ты, дорогой Сандро! И сейчас мучит тебя недуг, который ты, надеюсь, преодолешь силой твоего мужества.

Одним словом, мне хорошо сидеть с тобой и беседовать по душам в день твоего семидесятилетия!..

Союз писателей хорошо сделал, что послал тебе приветствие, но пусть этот Союз не забудет, что праздновать мы будем не сейчас!

Союз писателей хорошо написал, что о твоём пути «могут лишь мечтать другие, многие»... Это справедливо, потому что так и есть.

²⁷ Цитируются строки из стихотворения С. Шаншиашвили «Кахетия». — См.: Н. Тихонов. Избранное. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. т. 1, Тбилиси, «Мерани», 1978, с. 96.

Если бы не временное твое недомогание с глазами, то в лето можно было бы отметить твой высокий день, и осенью — повторить!

Но как раз получается так, что сама природа вещей не признает того, что тебе уже 75 лет, и просит отложить это утверждение...

Я хочу сказать и о другом. О том, что стихи, творения поэта живут не одной жизнью. Бывает, что вкус времени и другие события, изменяющие эпоху, отдаляют труды поэта, появляются новые голоса, новые песни, но вдруг на пиру жизни появляется стакан с таким старым, великолепным вином, что все это чувствуют — это вино никогда не умирающей поэзии!

Ты такой чародей — винодел стихового погреба! И пусть проходят годы — твое вино пьянит по-прежнему, потому что время только заставляет признавать его крепость и силу и нежность людей новых поколений!

Я перечитывал твою книгу и снова ощущал эту неподдающуюся годам прелесть твоего таланта. Это самое главное, это то, что действительно принадлежит немногим талантам, и этому могут завидовать многие, лишённые этой простоты, глубины, народности...

Вот мы и посидели рядом, и поговорили о самом главном. Я тебя всегда чувствую и всегда знаю, когда тебе трудно, когда хорошо! Сейчас настали трудные времена — и пусть тебе будет хорошо!

С тобой чудный спутник, одно присутствие которого — облегчение в заботах жизни. Маро даст тебе исключительные силы, и под ее заботой ты, как под щитом, защищен от многих непогод. И вы оба будете к осени молодцами, готовыми к новой Алавердобе²⁸, к новым радостям новой творческой осени...

Нежная и мудрая Маро! Я направляю Вам весь добрый груз сердечных приветствий в день семидесятилетия нашего старого, вечно молодого духом Сандро!

Как хорошо, что Вы около него, окруженные Вашей семьей и всеми красотами Грузии!

Мы все во главе с Марией Константиновной стали язычниками и умоляем всех богов, чтобы они дали Вам здоровья.

²⁸ Алавердоба — праздник плодородия и сбора урожая, издавна проводящийся в Кахетии у храма Алаверды, памятника грузинской архитектуры XI века.

отдых, избавление от всех напастей, дали новые силы и сделали Вас лучше, еще прекраснее и для радости друзей и потомства!

Обнимаю вас крепко, шлем лучшие пожелания вам и всему семейству! Пишите о себе хоть несколько строчек!

Николай Тихонов

7 октября 1966 года

Замечательный мой любимый друг Сандро!²⁹

Я еще полон впечатлений от вечера, незабываемого вечера, проведенного в кругу родной семьи! Как хорошо мы проводили время, как много сказали друг другу, и убедились, что годы над нами не властны... Я помолодел, видя тебя, [...] и добрых друзей.

Я возвратился в Москву и в тот же вечер рассказывал все своим, и Мария Константиновна, которая, бедная, тоже мучается глазами, была взволнована. [...]

Все, что было в Тбилиси в солнечные, хорошие дни; было на пользу человеку, а как только я ступил на аэропортовскую землю во Внукове, так почувствовал, что я схватил грипп. То ли разница температур, то ли что другое, но я маутро так энергично чихал, так кашлял, что поездка моя на секретариат доставила мне одно мученье. И я вернулся больной в Переделькино и лечился твоей колдовской чачей и виноградом, которые, без врачей, постепенно, ставили меня на ноги. Джугаанское вино — нектар!

Конечно, дни в Тбилиси имели свое назначение. Но я мечтаю увидеть Джугаани в будущем году и вспоминаю все удивительное, доброе и хорошее, что связывает нас и укрепляет нашу нерасторжимую дружбу.

Я перед поездкой переводил стихи нашего Гоглы Леонидзе. И там было одно стихотворение, посвященное тебе, Сандро! Оно так и называлось. Я посылаю тебе его. Тебе будет интересно узнать, как оно выглядит по-русски. По-грузински ты его, конечно, знаешь! А мне доставило лишнее удовольствие перевести его на русский.

Теперь мы вступаем в трудные месяцы перед Всесоюзным съездом!³⁰ Будет столько суеты, шума, заседаний, дис-

²⁹ Это письмо частично опубликовано в газете «Вечерний Тбилиси», 1966, 2 декабря, с. 3.

³⁰ IV Всесоюзный съезд писателей проходил с 22 по 27 мая 1967 года.

русский. Но, между прочим, будут в октябре и вечера грузинской поэзии³¹, и вечер Руставели в Большом театре³², где я буду председателем. А потом откроем памятник³³ Великому Шота в Москве.

Должен тебе сказать, что такого юбилея³³, как был в Грузии, еще не видели.

И хорошо, что было много иностранцев. Пусть посмотрят, как культурный, свободный, талантливый народ встречает дни своего великого поэта!

Это тебе не «культурная революция» в Китае, где уничтожают сочинения своих великих мастеров!

Очень, очень я рад, что видел тебя, и нахожу, что ты, как титан, борешься со временем, и только еще надо полечить глаза — и все оживет полностью!

Наши все и я, конечно, обнимаю тебя и горячо благодарен за любовь и дружбу. [...]

С Сашей Рябининой мы должны и мы сделаем твою книгу стихов³⁴, — посмотри, какие у тебя есть стихи после издания 1948 года Гослитиздата, сделай подстрочники и пришли, как будет время.

Я тоже пишу стихи о тебе. Как закончу — пришлю!

Еще раз обнимаю всех!

Живите, дорогие, будьте здоровы и счастливы!

За всех Николай Тихонов.

30 января 1971 года

Дорогой Сандро, милый, любимый старый друг!

Приветствую тебя сердечно! Я получил недавно подстрочник твоих новых стихотворений от Георгия Шалвовича

³¹ В связи с юбилеем Шота Руставели 14—23 октября 1966 года в Москве состоялась декада грузинской поэзии.

³² Юбилейный вечер, посвященный 800-летию Шота Руставели, был проведен 25 октября 1968 года в Москве. В тот же день был открыт и памятник ему.

³³ Юбилейные торжества в Грузии в сентябре 1966 года в связи с 800-летием со дня рождения Руставели. Председателем всесоюзного юбилейного комитета был избран Н. Тихонов.

³⁴ Книга С. Шаншиашвили «Избранное» под редакцией и с вступительной статьей Н. Тихонова вышла в Москве в издательстве «Художественная литература» в 1968 году.

Цицишвили³⁵. Мне эти стихи очень понравились и я поддался искушению и, вспомнив добрые старые времена, перевел их незамедлительно и послал Цицишвили, так как он просил перевести для «Литературной Грузии»³⁶.

Спасибо тебе за прелестное жидкое золото, червонное, которое так напомнило мне Кахетию, Джугаани и многое, многое.

Я сейчас занят исключительно юбилеем Леси Украинки, память которой будет праздновать и Грузия, потому что она знала Грузию, жила и лечилась в ней и умерла в Сурами, где воспеваемая тобой наша незабвенная Тamarочка Абакелия сделала ей замечательный памятник, верно передающий талант и характер украинской поэтессы³⁷.

По-моему, у тебя за последние годы уже накопились стихи для целой новой книги. Ее можно было бы выпустить и по-грузински, и по-русски. Посмотри, может, что и получится. Тем более, год юбилейный для Грузии, многозначительный и для поэзии подходящий.

От всех наших шлю тебе самый сердечный привет. Мы пили твое жидкое червонное золото с чувством большой радости, что ты могуч и в стиховом хозяйстве, и в виноградном. Пили за весь твой прекрасный род, где все прибавляется и прибавляется членов.

С дорогой Латаврой³⁸ я посылаю тебе переведенные мной твои стихи и желаю тебе доброго здоровья и хорошего настроения, и неиссякаемого вдохновения, как старейшему певцу, достойному поэту нашей неповторимой эпохи.

Обнимаю за всех и всех твоих крепко — твой

Николай Тихонов.

³⁵ Г. Ш. Цицишвили (1921) — писатель, критик, литературовед, член-корреспондент АН ГССР, в 1969—1977 годы редактировал журнал «Литературная Грузия» (1971, № 5, с. 7).

³⁶ Стихотворение С. Шаншиашвили «Каждодневное — в вечное» опубликовано в «Литературной Грузии» (1971, № 5, с. 7).

³⁷ В том же году Н. Тихонов посвятил этому памятнику стихотворение «Памятник Леси Украинки в Сурами», которое вошло в цикл стихотворений «Новая встреча (1970—1975)». См.: Н. Тихонов, Избранное. Стихи о Грузии. Грузинские поэты, Тбилиси, «Мерани», 1978, т. 1, с. 20.

³⁸ Л. Шаншиашвили — дочь писателя.

Дорогой друг, милый Сандро!

Большой радостью было для меня получить твоё письмо. Ты старше меня на несколько лет, и в нашем возрасте болезни ведут наступление со всех сторон. Но ты — богатырь и справишься с ними, и снова будет хорошо.

Спасибо тебе за отзыв о книге, которую я составил из очень большого материала, — как-никак прошло полвека, и каких полвека!..

Когда придет Элизбар³⁹, он мне переведет статью Ладдо Бахтрионели⁴⁰, он часто заглядывает ко мне. На днях были печальные воспоминания, связанные с годовщиной нашего горя. Пришло много друзей и знакомых, и мы пили память нашей дорогой Марии Константиновны и вспоминали многие события, и вспоминал я, как мы жили в чудесной Джугаани и как всем было хорошо, как прекрасны были вы с Маро, и девочки, и все друзья, как много это значило в жизни...

А как книга твоих стихотворений и поэм, которую я готовил для издания в Тбилиси? В каком она состоянии?

Ты пишешь, что старики еще встретятся... Конечно, мы еще встретимся. В декабре этого года мне будет восемьдесят лет. Никогда не думал я, что доживу до такого возраста, но ты — замечательный пример творческого вдохновения, перед которым бессильно время!

Ты — классик и ты молод, как цветущий поэт, говорящий от сердца и мудрый одновременно.

Ты окружен, как патриарх, новыми поколениями, одаренными талантами и жизнедеятельными!

Мы любим тебя и гордимся тобой и семейным семейством!

Обнимаем горячо тебя и Цисию, Латавру и всех детей, и внучат.

Шлем наилучшие приветы и пожелания!

Николай Тихонов.

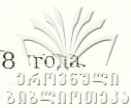
P. S. Сообщай о себе, пожалуйста. Диктуй письма Цисии или Латавре и подписывай! А мы будем читать...

Н. Тихонов.

³⁹ Э. Г. Ацаниашвили — поэт, переводчик.

⁴⁰ Псевдоним писателя Вл. Алпепидзе.

6 октября 1978 года



Дорогой, милый друг Сандро!

Приветствую тебя и все семейство сердечно! 25-го июля, когда тебе исполнилось славных девяносто лет, я послал тебе приветственную телеграмму и имел радость видеть ее напечатанной в «Литературиლი Сакартвело» вместе с твоим портретом, на котором ты имеешь торжественный, победный вид, что и приличествует юбиляру.

Не буду скрывать, что я копил силы, чтобы в дни твоих осенних празднеств лично приветствовать тебя в Тбилиси, но не рассчитал. Мои перегрузки снова привели меня к тому, что врачи водворили меня в больницу 15-го августа, и я только недавно вышел из нее со строгим наказом повиноваться советам врачей: не удаляться от Москвы ни на поезде, ни на самолете, даже из Переделкина, где пребываю, не ездить в город, вести строгий режим, так что я даже не мог принять участие в открывшейся на днях сессии Комитета по Государственным премиям.

Приходится подчиняться — ничего не поделаешь. Я уж как-нибудь доберусь до тебя по-тихому в будущем году, без заседаний и торжеств.

А сейчас посылаю тебе статью о тебе. Я назвал ее «Большой день жизни Сандро Шаншиашвили», но ты можешь назвать ее и по-другому.

Дай ее куда захочешь в Тбилиси, куда найдешь нужным. А к самому дню 25-го октября — к празднику, я пришлю тебе еще поздравление, чтобы его можно было тоже огласить в печати или на торжественном собрании.

Я понемножку прихожу в себя и очень расстроен тем обстоятельством, что не могу приехать в Тбилиси сейчас. Но меня радует, что ты чувствуешь себя хорошо. Это — главное!

Обнимаю всех твоих близких от имени всех своих и поздравляю их!

Буду очень рад получить от тебя хоть две строчки!

Будь здоров и благополучен,

дорогой наш богатырь!

Твой Николай Тихонов.

Дорогой друг, Симон⁴¹!

Я никогда не забывал о Вашем существовании и о Вашей дружбе. Я просто в этом году восемь месяцев из одиннадцати отсутствовал...

Но я из разных источников и от друзей общих знал и следил как за успехами грузинской прекрасной поэзии, так и за прекрасными людьми грузинской поэзии, за мастерами, чей привет мне всегда ощутителен.

Я писал кахетинские свои стихи⁴² именно как благодарность изумительному краю, заключающему в себе столько человеческого.

Я думал, что, оставив ненадолго грузинские переводы, вернусь к ним и, в первую очередь, попытаюсь перевести со свежими силами Вашу «Осень» и «Сванскую колыбельную».

В Тифлисе я буду, по всей вероятности, в мае будущего года.

Вашу мысль — приехать в Ленинград — приветствую вдвойне. Во-первых, я всегда рад видеть Симона Чиковани у себя и слышать его гулкий голос, полный силы и бодрости. Во-вторых, в начавшейся дискуссии о всемирной поэзии голос Чиковани должен обязательно быть услышан русскими, в первую очередь, ленинградскими поэтами.

Вечера мы устроим и дружеские — тесно, и широкие — общественные.

Приезжайте. Когда будете в Москве, напишите, когда Вам удобно в Ленинграде выступить. Все будет сделано.

Привет всем моим тифлисским друзьям, всем, кто еще не забыл меня. Привет Вашей жене от меня и Марии Константиновны⁴³. [...]

Приезжайте. Мы выпьем за грузинскую поэзию, за русскую поэзию, за мировую нашу будущую поэзию — за все, что в мире весело и молодо.

Крепко жму руку

Н. Тихонов.

⁴¹ Личный фонд Симона Чиковани, № 1, единица хранения 98. Приводимые в настоящей публикации письма цитируются по данному фонду.

⁴² Н. Тихонов создал цикл «Стихи о Кахетии».

⁴³ Супруга Н. Тихонова.

Милые друзья Симон и Марийка!⁴⁴

Только чрезвычайные обстоятельства помешали мне приехать в чудесный Тбилиси на юбилей Н. Бараташвили⁴⁵.

Я должен срочно выехать в Югославию, и тут уж ничего не поделаешь.

Ужасно опечален, что не встречу тебя и Марийку и друзей на таком великолепном поэтическом празднике.

Посылаю тебе два твоих стихотворения и одно — Важа Пшавела. Это в ту книгу моих переводов⁴⁶. В телеграмме ты указывал на Гришашвили и Абашели, но у меня нет их переводов. Или речь шла о новых?

Посылаю тебе самый сердечный привет, тебе и дорогой Марийке. Мария Константиновна тоже.

Желаю счастливого праздника, хороших стихов и успеха во всех делах. Привет сердечный Маро⁴⁷ и Сандро⁴⁸, Гогле⁴⁹ и Пепико⁵⁰, и всем, кто меня еще помнит в Тбилиси.

Н. Тихонов.

Москва, 25 июля 1946 года.

Дорогой Симон.

Приветствую сердечно тебя и Марийку⁵¹. Очень обеспокоен твоим молчанием и твоим здоровьем. Как ты себя чувствуешь?

Я сам с ногой, разбитой в автомобильной катастрофе, лежал 2 месяца, и только позавчера мне разрешили ходить по квартире.

Посылаю тебе 3 стихотворения И. Гришашвили [...] для

⁴⁴ Супруга С. Чиковани. — Марика Чиковани-Элиава.

⁴⁵ В октябре 1945 года в Грузии отмечалось 100-летие со дня смерти Н. Бараташвили.

⁴⁶ Книга переводов Н. Тихонова «Поэты Советской Грузии. Избранные переводы» вышла в Тбилиси в 1948 году в издательстве «Заря Востока».

⁴⁷ Супруга С. Шаншиашвили.

⁴⁸ Шаншиашвили С. И.

⁴⁹ Г. Леонидзе.

⁵⁰ Супруга Г. Леонидзе.

⁵¹ Супруга С. Чиковани.

моей книги переводов⁵², «Рог» Эристави, может быть, тоже войдет в книгу.

В Москве слухи о съезде грузинских писателей. Напиши мне, что ты задумал и когда и в каком виде. Это нужно предварительно знать — для порядка союзной работы.

Говорят, в Грузии появились новые талантливые молодые поэты и среди них — Анна Каландадзе с очень свежими стихами. Интересно?

Что наши друзья в Тбилиси? Что нового? Ужасно соскучился по Грузии — семь лет не видел ее. Думаю, что этой осенью, если получу отпуск, приеду в Грузию подышать воздухом юга.

В Москве писателей сейчас мало, разъехались отдыхать — первое мирное лето. Я работаю в городе, и очень жарко, прямо нечем дышать. Пишу книгу стихов, пишу урывками, не дают писать дела, которые, как тучи, меня облегли.

Но я стараюсь не забывать короткие строчки, которые нам доставили и доставляют особые земные радости.

Напиши о себе и о моих переводах, и о планах грузинского Союза писателей.

Мария Константиновна шлет самый горячий привет тебе и Марийке и целует вас обоих.

«Клятве»⁵⁴ Чиаурели предсказывают успех безмерный.

Обнимаю тебя и Марийку,

Николай Тихонов.

Горячий привет всем друзьям!!!

16 ноября 1946 года.

Дорогой друг, Симон.

Я очень надеюсь, что ты все-таки приедешь в Москву в ноябре. Во-первых, будет чрезвычайно радостно повидать тебя и чудесную Марийку, если она согласится зимой ехать на север, а, во-вторых, мы бы окончательно разделились с Антологией⁵⁵, которая очень уже залежалась.

⁵² Книга переводов Н. Тихонова «Поэты Советской Грузии. Избранные переводы» вышла в Тбилиси в 1948 году.

⁵³ III съезд писателей Грузии проходил с 7 по 10 сентября 1946 года. Тогда С. Чиковани был председателем Союза писателей Грузии.

⁵⁴ Художественный фильм режиссера М. Чиаурели (1894 — 1975), удостоенный Государственной премии 1947 года.

⁵⁵ Антология грузинской поэзии была издана в Москве в 1949 году под названием «Поэзия Грузии».

Хорошо бы, чтобы в будущем году, к 30-летию Октября, она бы могла выйти в свет. Потом, мы очень мало сумели поговорить в мой приезд о поэзии. Мы так давно всерьез не подымали этого вопроса, что он как будто сполз на разные обсуждения по мелочам и исчез.

На самом деле это не так. Мне кажется, что никогда еще принципиальное отношение к вопросам стиха не стояло так остро за последнее время, как сейчас. Я это особо ощущаю, потому что, приступив после большого перерыва к стихам, вижу, как много новых вопросов стало перед поэтами сегодня. Вот побеседовать, как ремесленники, как черновые мастера, о тайнах нашего ремесла было бы очень соблазнительно.

Потом я хотел выяснить вопрос и о некоторых моментах, связанных с представлением к Сталинской премии⁵⁶. Мне нужно, чтобы ты сообщил мне несколько самых известных за войну твоих стихов и стихов последнего времени, кроме поэмы о Гурамишвили. Я был бы тебе очень признателен, а ты помог бы в работе литсекции Комитета. Но это надо сделать быстро.

Твоя поэтесса с мифическим именем — Венера Георгиевна⁵⁷ произвела здесь самое серьезное впечатление, и у нее дела сложились неплохо. Маршак читал ее переводы и нашел их хорошими. Предисловие, к сожалению, ни ему, ни мне нельзя написать, чтобы не вводить читателя в заблуждение, что мы знаем грузинский язык, что можем оценивать его даже в переводе на английский. Поэтому я предложил, чтобы предисловие было написано в Тбилиси академическим человеком, сведущим в обоих языках. Это самое естественное. А вообще она дама талантливая и дай бог ей успеха.

Крепко обнимаю тебя и милую Марийку. Мария Константиновна сердечно приветствует вас обоих.

Н. Тихонов.

⁵⁶ Государственная премия 1946 года была присуждена С. Чиковани за поэму «Песнь о Давиде Гурамишвили» и за стихотворения «Кто сказал», «Картлийские вечера», «Праздник Победы», «Гори».

⁵⁷ В. Г. Урушадзе — переводчик, поэт. Речь идет об Антологии грузинской поэзии на английском языке в переводе В. Урушадзе, изданной впервые в Тбилиси в 1948 году. См.: Anthology of Georgian poetry, translated by V. Urushadze, Tbilisi, 1948.

Пишите — приезжайте, дорогие!
P.S. А как с книгой моих переводов? Может быть, можно какой-нибудь аванс получить — это было бы кстати!

Н. Тихонов.

30 августа 1947 года.

Дорогой Симон!

Это письмо передаст тебе болгарская поэтесса — Блага Димитрова. Она очень хорошая поэтесса и наш друг.

Очень прошу тебя оказать ей гостеприимство во время ее пребывания в Тбилиси. Она сама расскажет тебе, что ей хочется увидеть в Грузии.

Попроси ее почитать отрывки из ее новой поэмы о народной героине Болгарии Лиляне⁵⁸. Может быть, грузинские поэты сделают перевод отдельных глав этой поэмы.

Блага говорит по-русски совершенно превосходно.

С тобой мы увидимся в Баку, на юбилейных торжествах⁵⁹.

Потом надеюсь оттуда приехать в Тбилиси, повидать друзей, встретить новую осень [...], и, если мне повезет, почитать свои новые стихи о Грузии.

Передай мой сердечный привет всем друзьям. Поцелуй за меня Марийку.

Обнимаю тебя,

Николай Тихонов.

P. S. Мария Константиновна думает в сентябре быть в Тбилиси. Она шлет свой горячий привет.

Н. Тихонов.

Сухуми, 11 сентября 1948 года.

Дорогой друг, Симон.

Нахожусь во владении твоей поэтической империи, сохну от московских дождей под жгучим солнцем Сухуми. Все время порываюсь в горы, но там уже снег.

Я буду в Тбилиси 20-го, самолетом из Сухуми. Как председатель комиссии по юбилею Хачатура Абовяна⁶⁰ я

⁵⁸ Этой же героине посвящено стихотворение Н. Тихонова «Лиляна в Пловдиве», опубликованное к 1970 году.

⁵⁹ Юбилейные торжества, посвященные 800-летию Низами.

⁶⁰ В сентябре 1948 года в Армении отмечалось 100-летие со дня смерти Х. Абовяна.

должен быть 22-го в Ереване. Наверно, из грузинских писателей кое-кто поедет на [юбилей] Абовяна. Тогда я при соединюсь с Марией Константиновной, которая тоже со мной в Сухуми. После тяжелой зимы и трудного лета ей надо немножко подышать воздухом.

Даты юбилеев Казбеги⁶¹ и Абовяна так сблизились, что мне не удастся съездить в селение Казбеги на народное гуляние. Очень жаль!

Зато потом я вернусь из Армении в Тбилиси, и тогда я хочу закончить свой цикл стихов о Грузии и погулять по милым сердцу местам.

Как милая Мариичка и все обитатели дома с башней? Горячо обнимаю тебя и очень хочу видеть. Поцелуй от меня и Марии Константиновны Мариичку.

Привет друзьям,
Николай Тихонов

[1948 год]

Дорогие друзья Симон и Мариичка!

Поздравляю вас с Новым годом — 1949-м, желаю вам в этом году, чтобы все дурное осталось за порогом, чтобы с 1948 годом исчезло бы все, что мешает плодотворно работать, хочу пожелать вам, чтобы вы были такие же оба — дружные, веселые, талантливые, богатые впечатлениями, окруженные друзьями, чтобы было много новых стихов и чтобы мы могли по-хорошему радоваться жизни и всем ее настоящим проявлениям.

Мария Константиновна присоединяется ко мне и шлет самый сердечный привет и поздравления.

Поднимаю свой полный стакан в далекой Москве, чтобы выпить его, как в Тбилиси, за исполнение всех наших желаний.

Крепко обнимаю вас,

Николай Тихонов

16 апреля 1948 года

Дорогой Симон.

Я перевел «Посвящение сванской комсомолке»⁶² и посы-

⁶¹ С 29 сентября по 2 октября 1948 года в Грузии отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Казбеги.

⁶² Стихотворение С. Чиковани.

лаю его. Живу сейчас в доме творчества в г. Пушкине (бывшем Детском селе), пишу поэму о Серго Орджоникидзе на Кавказе⁶³, первую из книги поэм о Кавказе.

У нас очень мокрая весна, дожди, все размыло. В Тбилиси уже, наверно, все греются под солнцем и ходят в одних рубашках.

Мы, вероятно, скоро увидимся — в Киеве, на шевченковских торжествах⁶⁴.

Напиши, как нашел перевод.

Горячий привет Марийке, милой и доброй Марийке — от меня и Марии Константиновны. Очень хочу в Тбилиси, да грехи не пускают. Собираюсь осенью приехать.

Крепко жму руку,

Н. Тихонов

Привет большой всем друзьям!

7 сентября 1960 года

Дорогой друг Симон!

Только что вернулся из Киева, до этого был в Ленинграде и окрестностях. Нашел твою телеграмму с ее жестким сроком. Ничего не мог написать, кроме двух страниц, которые колны благоговейного внимания и преклонения перед поэтическим подвигом великого Акакия⁶⁵. Если они найдут место среди многих высказываний, я уверен, более широких и более значительных, чем мое наивное восхищение, то я буду очень рад.

Чтобы не задерживать посылки письма, не продолжаю его, я напишу дополнительно и подробно, а сейчас заканчиваю его и посылаю воздушной почтой.

Огромные приветы и самые добрые пожелания шлю тебе и Мариичке от всех нас. Обнимаю вас и вашего инфанта!

⁶³ Свою поэму «Серго в горах» Н. Тихонов закончил в 1957 году. В том же году она была опубликована в журнале «Знамя», №№ 10, 11, 12.

⁶⁴ Торжества, посвященные 135-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.

⁶⁵ Статья Н. Тихонова «Вечному — извечная жизнь!», посвященная 120-летию со дня рождения классика грузинской литературы Акакия Церетели, была написана специально для журнала «Мнатоби» по просьбе С. Чиковани, который в 1955—1960 годах редактировал его. См.: «Мнатоби», 1960, № 9, с. 15 (на груз.).

Привет осенне-прекрасному Тбилиси! Только что в Киеве почувствовал, как долго не видел Тбилиси и как меня всем существом тянет в его прелести!

Твой Николай Тихонов

12 сентября 1964 года

Дорогие, хорошие, милые Мариичка и Симон!

Очень мне захотелось написать вам — снова осень, которая в Грузии торжественнее и роскошнее, а у нас на Севере — грустна и холодновата. Птицы кричат на всех деревьях в моем саду в Переделкино. Это грачи собираются ночевать, сколачивая большую стаю перед отлетом.

Они улетают на юг, а мы будем смотреть, как они улетают, и вспоминать друзей на юге.

Тяжелые времена переживаем мы. Может быть, из-за наших лет (мы с Марией Константиновной можем назваться стариками), лет нам достаточно...

Может быть, из-за больших переживаний, большого времени. Мы знаем о вас и все время молим небо, чтобы было полегче и чтобы все хвори отстали и ушли туда, откуда пришли⁶⁶.

Может быть, этой осенью все повернется по-хорошему. Слишком долго мы грустили и жили в тумане забот и треволнений.

Осень я люблю за ее зрелость и такую мощь природы, что и сам начинаешь [испытывать] прилив свежих сил. Я люблю работать осенью и, по-моему, Симон тоже. Тут как-то я взял его книгу стихов и перечитал ее, как новую. Ух, какие сильные, какие душевные, какие живописные стихи! Какая грузинская душа живет в этих узловатых, как виноградные лозы, строках.

Я посылаю тебе недавно вышедшую мою книгу прозы — «Двойная радуга»⁶⁷. Эта книга о хорошо тебе известных, просто известных и вовсе не известных писателях и поэтах. В следующей книге будут грузинские имена. Я сделал пробу — оказывается, этот мемуарный жанр живет и даже имеет большого читателя.

Я болел гриппом в довольно худой форме (всего лома;

⁶⁶ Имеется в виду болезнь глаз С. Чиковани.

⁶⁷ Н. Тихонов. Двойная радуга, М., «Советский писатель», 1964.

ло), но теперь получил творческий отпуск и пишу всякое — родные долги литературные должен отработать...

Мария Константиновна работала с моей сестрой летом в саду, но теперь с холодами чувствует себя неважно.

Обнимаем вас обоих крепко и желаем доброй осени, передышки в болезнях! Очень, очень вас любим и всегда помним...

Вы — замечательные, красивые, талантливые...

Еще раз обнимаю вас от души!

Николай Тихонов

Напишите 2 слова о себе! Пожалуйста!

Н. Тихонов

[7 сентября 1965 года]

Дорогие Марийка, Симон, дорогие наши друзья!

Скучаем о вас, интересуемся, как обстоят дела? Говорим по телефону только с Тиной⁶⁸. А нам недостаточно это — хотим знать все, слышать ваши голоса. Знаем, что вы в Окроканах, знаем, что операция позади⁶⁹. Но столько вопросов к вам, столько хочется вам рассказать, расспросить, что нужно сделать, о чем поговорить, гохлопотать.

Собрались сегодня в Переделкине на даче у Тихоновых: хозяева, Никола⁷⁰, два местных — Вива⁷¹ и Ираклий⁷². О чем говорим? О вас! И хотим пожать ваши руки, обнять вас, расцеловать. Может быть, дозвонимся Сусанне.

Привет — Элисо, Сусанне⁷³, Икуше⁷⁴.

Всем.

Обнимаю вас, дорогие наши друзья.

М. Тихонова

Целую вас крепко, дорогие,

Николай Тихонов

Дорогие, любимые! Звонил вчера в Тбилиси весь вечер.

⁶⁸ Супруга грузинского советского литературоведа Л. Н. Асатиани (1900—1955).

⁶⁹ В 1965 году С. Чиковани перенес операцию глаз.

⁷⁰ М. П. Бажан.

⁷¹ Супруга И. Л. Андроникова.

⁷² Андроников И. Л.

⁷³ Сестры М. Чиковани.

⁷⁴ Сын С. Чиковани.

Никто не отзывался. А я хотел узнать, что у вас доброго.
Еду послезавтра в Киев. [...] Буду звонить из Киева.

Целую вас крепко, крепко.

Микола

Милые друзья Симон и Маринчка!⁷⁵

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам быть неизменно прекрасными в своей физической и духовной сущности. Желаю вам года, какой вы себе представляете, — пусть все будет так, как вы хотите.

Я же со своей стороны желаю, чтобы ваш изумительный дом был для меня таким же местом отдыха сердца и души, как до сих пор.

Желаю вашему дому полного благоденствия, а твоим поэтическим просторам, Симон, чудесного стихового урожая.

Милой Мариичке я желаю легкого года, полного радости и удовлетворения желаний. Всему славному семейству — успеха во всех делах.

Хочу исполнения своего желания — увидеться с вами, милые друзья, в будущем году, за дружеской беседой.

Мария Константиновна и все мое бесчисленное семейство приветствует вас сердечно.

Обнимаю вас горячо и лью полным рогом ваше здоровье!
Ваша!!⁷⁶

Николай Тихонов

Публикация, предисловие и комментарии:
Мананы Нинидзе.

⁷⁵ Письмо написано на бумаге с изображением Манежной площади в Москве. Рукой Н. Тихонова пририсован силуэт дома с человечком. На рисунке надпись: «Этот вид — чтоб вы не забывали путь в мой дом. А это — я. Это — мой дом».

⁷⁶ Ваша—ура (по-грузински).



Наталья БЕРУЧАШВИЛИ

ШЕДЕВРЫ ПЯТИ ВЕКОВ

Известный американский коллекционер доктор Арманд Хаммер предоставил тбилисцам блестящую возможность познакомиться со своим великолепным собранием западноевропейской и американской живописи и рисунка. После демонстрации в некоторых городах Советского Союза выставка в течение декабря экспонировалась в Государственном музее искусств Грузинской ССР.

Знакомство Арманда Хаммера с советской страной насчитывает не один десяток лет. В начале 20-х годов он был одним из первых бизнесменов, установивших торговые отношения с молодым государством и по-своему оказавшим помощь в борьбе с голодом и разрухой. В связи с этим он встречался с В. И. Лениным. Как видим, старое знакомство оказалось прочным. Теперь его связывают с нашей страной и культурные отношения. Доктор Хаммер всю свою жизнь посвятил делу собирательства. Данная коллекция уже третья по счету и завещана Музею изобразительных искусств Лос-Анжелеса и Национальной галерее в Вашингтоне.

Кроме этого, он счастливый обладатель уже всемирно известного так называемого «Кодекса Хаммера» — единственного манускрипта гениального художника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, который он приобрел в 1980 году¹. В нем рукой

¹ «Кодекс Хаммера» экспонировался в Советском Союзе в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 1984 году.

художника записаны наблюдения о воде, свете и тени, разрабатываются гипотезы и различные вопросы в области астрономии, геологии, гидродинамики, физической географии, механики. А в заметках об описании цвета атмосферы раскрывается идея понимания того, как художник добивался знаменитого эффекта «sfumato» заднего плана, до сих пор вызывающего восхищение в его «Монне Лизе». Сравнительно недавно Хаммером был приобретен и рисунок Леонардо да Винчи.

Есть у него еще одна отдельная коллекция — в настоящее время самое крупное частное собрание произведений французского художника первой половины XIX века Оноре Домье.

В демонстрировавшейся в Советском Союзе коллекции экспонировались почти все входящие в ее состав произведения искусства, за исключением нескольких работ, которые по разным причинам не могли быть представлены на выставке. Основной и постоянный ее фонд составляют 125 картин и рисунков — первоклассных живописных и графических произведений. Они в то же время отражают личный вкус их владельца, особенно проявляющийся в выборе художественных школ или творчества какого-либо одного мастера, которому он отдает предпочтение. Это в первую очередь французская школа живописи XIX и начала XX века, включающая интересные и разнообразные работы импрессионистов. Тем не менее коллекция сме-

шанная, и мы можем познать комиться лишь с отдельными представителями художественных школ и эпох. Но все же собрание является своеобразной ретроспекцией развития искусства начиная с Микеланджело; Рафаэля, Дюрера до произведений наших современников, что, кстати, и обусловило название выставки — «Шедевры пяти веков».

Возрождение представлено эскизами Микеланджело Буанаротти, Рафаэля Санти, Андреа дель Сарто, Антонио Корреджо, мужскими портретами работы венецианцев Тициана и Тинторетто.

Беглые наброски двух фигур Микеланджело мало что сообщают нам о творчестве художника. Но подготовительный этюд Рафаэля для фресок часовни церкви Санта Мария делла Паче в Риме достоин Микеланджело своей мощной монументальной группировкой масс драматических образов двух пророков Осии и Ионы, предсказывающих воскрешение Иисуса Христа. Нежной грустью овеян образ женщины, вероятно, выполненный с натуры для «Мадонны Боргезе» Андреа дель Сарто. Двухсторонний рисунок Корреджо представляет с одной стороны, эскиз для алтарной картины «Отдых на пути в Египет», с другой — этюд для фигур евангелиста Матфея и св. Иеронима в характерной для художника технике рисунка — сангина и чернила. С «вертлявой грациозностью», именно по-корреджовски, его перо вычерчи-

вает композиции, тяготеющие к барокко.

Мужской портрет Тициана, бесспорно, — одно из лучших произведений портретного искусства. В нем характерно обращение художника к черной краске, с помощью которой он создает фон. Но это — не безжизненная темнота, а какой-то первоэлемент, какое-то волшебное средство, из которого свет вырывает полное твердой решимости, строгости, смелости лицо знатного человека.

В портрете же венецианского генерала Тинторетто нет той блистательной молодости, бодрости, ощущения власти «сильного мира сего» Тициана; перед нами пожилой воин, в его взгляде чувствуется некоторая усталость. Этот суровый мужественный образ ничего не говорит о тревожной «*terribilita*» (грозный), столь характерной для полотен гениального мастера Позднего Возрождения.

Завершают итальянскую живопись два рисунка Джованни Баттиста Тьеполо — наследника вековых достижений итальянского искусства, как бы замыкающего круг исканий стиля барокко. В них — ярком примере графической виртуозности мастера — отражена типичная для него изобретательность композиционного решения, не лишенная компактности внутреннего строя в сочетании с исключительной светосилой. Из экспонируемых рисунков этими чертами в наибольшей степени наделен «Св. Иероним, внимающий ангелам в пустыне».

Фламандская и голланд-

ская школы в коллекции представлены двумя самыми блестящими их мастерами — Рубенсом и Рембрандтом.

Обладая неумемной фантазией при зорком наблюдении действительности, Рубенс почти во всех своих работах с необычайной легкостью и ясностью пластического воображения создает органически стройные и выразительные композиции. Экспонируемая на выставке картина «Поклонение пастухов», выполненная вскоре после возвращения из Италии на родину, в известной степени обусловлена влиянием итальянской академической школы живописи, что проявляется в некоторой сухости композиции, лишенной «бешеного брио», динамизма форм. В результате декоративность преобладает над чувственностью. Такому впечатлению способствует и общий холодный тон колористической системы. А в портрете «Молодой женщины с вьющимися волосами» четко «узнаваем» творческий почерк художника. Образ овеян большим лирическим чувством очарования молодости, отличается тонкостью письма.

С творчеством одного из крупнейших художников-реалистов и вместе с тем одного из величайших мастеров живописи — великого голландского живописца Рембрандта на выставке нас знакомят прежде всего его портреты. В них отражена свобода в выборе модели, ибо он пишет преимущественно лица с ярко выраженной индивидуальностью. Поэтому все они отличаются мастерством выражения

формы, меткостью характеристики в поисках парадности, сочетающейся с известной композиционной строгостью. На данной экспозиции перед нами — «Портрет мужчины с черной шляпой в руках», в котором Рембрандт будто фиксирует свои наблюдения о человеке, словно задержанном на минуту его окликом. Такому впечатлению способствует несколько растерянный, вопрошающий взгляд мужчины, резкий поворот его головы в сторону зрителя. Интересно и колористическое решение портрета: в общем монотонная цветовая охристо-коричневая гамма оживлена белизной двух пятен — воротничка и манжеты.

Аллегорическая картина, в сущности являющаяся портретом Хендрике Стоффельс, демонстрирует нам торжество голландской Юноны. Выполнена эта работа в начале 60-х годов XVII века, в период наиболее интенсивной фазы творчества Рембрандта. Перед нами не богиня богинь брака и плодородия, а скорее августейшая особа, которую художник преподносит с пышным великолепием. На образ из античной мифологии указывает лишь павлин — один из представителей пернатого мира, ставший традиционным атрибутом Юноны (также — ворон и кукушка). В этой работе, как, впрочем, и во всех других того же периода, синтезируются предшествующие психологические и живописные искания художника, которые заключаются в исключительной силе образа, в простоте компози-

ционного замысла, в интенсивности горячего колорита и в размахе живописной фактуры. Помимо этого, особенную художественную ценность в «Юноне» приобретает изощренность рембрандтовского света в сочетании с колористическим эффектом освещенных и теневых планов. В ней живописная сторона органически связана с содержанием. Чувствуется, что художник, подобно Пигмалиону, преклоняется перед своим творением, призывая к восхищению и зрителя.

Отмеченные живописные свойства полотен Рембрандта сказались и в его графическом наследии. В нем значительную часть составляют рисунки. Они помогают убедиться в остроте и своеобразии рембрандтовского восприятия окружающего мира, наглядно демонстрируют, как гениально просто и лаконично с помощью самых обычных приемов перо на бумаге создает форму.

Один из экспонируемых рисунков иллюстрирует сцену из Ветхого Завета. Здесь, как и во всех библейско-жанровых композициях, у Рембрандта в центре внимания — человек, а выбранный сюжет и разрабатываемая тема дают ему повод для изображения человеческих отношений и характеров. Одновременно художник создает захватывающие строгим реализмом картины окружающей действительности — виды простой, неприкрашенной голландской деревни. Данная выставка знакомит нас с одним из таких «изображений самой обыденной видимо-

сти» — «Пейзажем с деревенскими постройками среди деревьев».

Коллекция доктора Хаммера фактически лишена произведений немецкой, испанской и английской школ живописи, ибо в собрании имеется лишь по одному их произведению.

Испанская школа характеризуется картиной мятежного реалиста Франсиско Гойи. За период с 1776 по 1781 год художник исполняет 43 картины для королевской мануфактуры шпалер. Они являются своеобразной иллюстрацией сценки из народной жизни. Так, в «Эль Пелеле» четко прослеживаются приемы, соответствующие декоративному назначению этого произведения. В веселой народной сценке, изображающей игру молодых девушек, подбирающих на ковре большую куклу-мальчика, звучат элементы легкой иронии, столь характерной для художника. Но та же соломенная кукла кажется и живым существом, с недоумением обратившим на зрителя свое лицо-маску. Гойя строит свою композицию на контрастах пластических форм и живописных пространств, очерчивает силуэты масс и достигает большой остроты выразительности декоративного решения.

С английской школой живописи нас знакомит полотно представителя английских прерафаэлитов сэра Джона Эверетта Миллеса. Часто используя в качестве натурщиков своих товарищей по искусству, близких и знакомых, как, впрочем, и другие художники прера-

фаэлитского братства, Миллес выписывает их лица с такой же тонкостью, как одежду, деревья, траву, цветы, то есть весь окружающий модель мир. Он наполняет картину всякими подробностями, которые, по его мнению, способны передать характер жизни. Такова его работа «Свежий улов», на которой изображена Беатрис Бакст оун, дочь известного актера и одна из постоянных моделей художника. Полотно дает о Миллесе необычайно выгодное представление тонкостью и красотой колорита композиции. Превосходно написан натюрморт со свежей рыбой в корзине. В нем царит мягкое, грустное настроение. В этой работе Миллес сумел остаться верным своему увлечению, связав романтизм с виртуозным мастерством и блестящей красочностью, на которую его натолкнули вещественные впечатления.

Самой значительной как по количеству, так и по полноте отражения разных художественных эпох в коллекции, безусловно, является французская школа живописи. Собрание дает довольно полное представление о пути ее развития начиная с XVIII и до начала XX столетия.

Один из интереснейших живописцев XVIII века, мечтательный и меланхоличный мастер «галантных празднеств» Жан-Антуан Ватто внес в изображение жизни светского общества нежную поэзию и глубину чувств, а в трактовку любовных сцен и беспечных увеселений оттенок легкой, порой цемящей тоски и не-

удовлетворенности. Доктор Хаммер обладает тремя произведениями этого художника, которые достаточно полно отображают как живописное, так и графическое его творчество.

«Празднество в честь Пана» — работа раннего Ватто, о чем свидетельствует более яркий ее колорит. Она написана с фантастической легкостью, сочетающей непринужденную грацию с меткими наблюдениями действительности. Группы мифологических фавнов, нимф, актеров комедии масок и одетые по тогдашней последней моде молодые люди размещены по всему полотну. Четко и ясно просматривается освещенная лучом невидимого таинственного солнца фигура играющего на свирели Пьеро. Его слушает козлоногий рогатый Пан — аркадский бог лесов и рощ, сам любивший играть на свирели (ему же приписывали ее изобретение). Все полотно проникнуто лирическим настроением — будто зачарованные скалы, деревья, небо внемлют льющим звукам музыки. Эта картина — песнь природе.

Наряду с живописными произведениями огромной художественной ценностью являются многочисленные рисунки Ватто, с которых фактически начинается период блестящего расцвета этого вида искусства во Франции XVIII века. Выполненные с натуры наброски фигур и пейзажи фиксируют наблюдения художника в выразительной, свободной манере. Как правило, они исполняются в едином тоне, карандашом

или сангиной, что, отнюдь не лишая их ощущения живописности, утонченности и красочного богатства.

В экспонируемой коллекции их два. В «Кавалере и даме» особенно интересна зарисовка молодого мужчины, данная в выразительном ракурсе. В «Молодой девушке» милому и нежному, словно зардевшемуся, личику Ватто придал оттенок легкой смущенности и задумчивости.

С творчеством «первого художника короля» Франсуа Буше нас знакомят две графические работы. «Сельский пейзаж с мостом» декоративен; условный характер пейзажа напоминает театральные задники, хотя выполнен он с легкостью и изяществом. Но творчество Буше особенно широко известно работами на мифологические сюжеты, дающие ему повод для изображения обнаженного женского и детского тела. Часто он пишет Венеру, богиню любви и красоты. В «Венере с дельфином» Буше с помощью морского существа намекает на ее происхождение — рождение из морской пены. Это типичное для мастера рококо изображение богини любви, лукавой и немного эротичной. Как в живописи, так и в данном рисунке, нашла отражение присущая Буше удивительная способность лишать своих героинь и персонажей устойчивости: все они живут, веселятся, играют и в то же время парят в каком-то огромном пространстве.

Работы его ученика, также мастера «галантных сцен и изображений парков»,

Жана-Оиоре Фрагонара в коллекции весьма разнообразны. Его картина «Воспитание девицы Марии» написана в свободной, широкой манере. Колорит выдержан в теплом тоне, линии силуэта покоряют плавностью. А простота жестов и выражения лиц превращают евангельскую притчу в чисто реалистическую сценку. Но для Фрагонара главная проблема в данной работе — это возможность живописной передачи света, как бы струящегося изнутри и замирающего в глубине высокого полутемного помещения.

В нескольких предложенных нам на выставке для ознакомления рисунках сюжет трактуется с неожиданной для художника скучной дидактичностью. «Чтение», «Внушение деда», «Маленький проповедник», «Посещение няни» пронизаны излишней чувствительностью и приторной сентиментальностью восхваления семейных добродетелей повседневной жизни мелкого буржуа. Но виртуозность рисунка и богатая фантазия Фрагонара делают их исключительно интересными и как произведения графики.

XVIII век представлен еще двумя художниками — живописцами «третьего сословия» — Жаном-Симеоном Шарденом и Жаном-Батистом Грезом.

Шарден любил писать натюрморты². В нем лишенном пафоса названии карти-

ны «Атрибуты живописи» художник в простой, неприукрашенной, без всяких внешних эффектов манере предлагает нам, зрителям, свои обычные профессиональные принадлежности. Но в этих простых предметах он открывает поразительное богатство красочных оттенков, которые позволили ему с необычайной силой выразить материальное качество вещей.

В графической работе Греза «Уставшая женщина с детьми» характерная для него сентиментальная чувствительность усугублена трагическим оттенком. Этот рисунок, возможно, являющийся данью памяти художника своему тяжелому детству, обладает большим достоинством: свободен по технике исполнения, живо и непосредственно передает модель.

Крупный художник французского классицизма Жан-Огюст-Доминик Энгр предстает перед нами в коллекции графическим портретом госпожи Бедхем, двоюродной сестры известного английского поэта Томаса Кэмпбелла. Точная передача внешнего облика в сочетании с красивым точеным штрихом быстро принесли Энгру популярность выдающегося мастера портретного рисунка. Так и в данный образ им внесена спокойная уравновешенность и гармоническое изящество очертаний идеальной формы, выраженные в плавном, текучем ритме линий, в мягкой, обобщенной, светотеневой моделировке объемов.

Творчество художника первой половины XIX века Камилля Коро, для доктора

Хаммера — любимая часть коллекции. Поэтому весьма большое и разнообразное собрание его работ дает достаточно полное представление о художественном наследии французского живописца. Для Коро характерен поэтичный, трепещущий жизнью пейзаж. В природе он находит отзвуки своим чувствам, своему душевному состоянию, которые тут же отражает на полотне, фиксируя тончайшие нюансы изменения атмосферы. Эти пейзажи выдержаны в приглушенной, монотонной гамме, наполнены светом и воздухом. В них царят радость бытия, спокойствие и тишина. Таковы его «Вид на собор в Манте», «Утро». Но два других ранних пейзажа — «Средневековые руины» и «Пейзаж со жнецом» — классически строги, а композиционное решение последнего найдет своих последователей у импрессионистов.

Наряду с пейзажами Коро пишет и портреты. Но, в отличие от Рембрандта, у него человек становится частью природы, и именно через нее он ищет в своей модели внутреннюю гармонию. Все изображенные им героини находятся в состоянии спокойной сосредоточенности, задумчивости. Их образы исполнены чистоты и поэтичности. В этом же ключе выдержан «Портрет девочки», воспринимающийся как образ вечной доверчивости молодости.

В картине бытописателя простых тружеников Жана-Франсуа Милле «Отдых крестьян» мягкие переходы, неяркие желтовато-корич-

невые, серо-голубые, золотисто-розовые тона образуют приятную для глаз колористическую гамму, чему во многом способствует и техника исполнения — пастель. Рассеянный свет связывает фигуры людей и пейзаж в единое целое.

Французское искусство XIX века в коллекции доктора Хаммера включает также две работы Гюстава Мора, чье художественное наследие еще до недавнего времени считалось салонным, несерьезным. Этому удивившемуся мнению способствовала тяга художника к отвлеченной стилизации, условной символике, приводящих зачастую к поверхностному декоративизму. Подобные увлечения Мора можно объяснить при внимательном изучении тематики его полотен, раскрывающих мышление, мировоззрение художника. Естественно, что приверженность к мистицизму и субъективизму нашли свое отражение и в стилистических особенностях его творчества. Именно ему принадлежат слова: «Я не верю ни в то, к чему прикасаюсь, ни в то, что вижу. Я верю лишь в то, чего я не вижу и что чувствую». Спустя несколько лет такое подсознательное восприятие мира ляжет в основу нового художественного течения — сюрреализма.

На данной выставке мы смогли увидеть только одну картину Мора — «Саломея», в которой как бы сфокусировались все черты таланта живописца.

Знаменитый библейский сюжет — месть царицы Иродиады Иоанну Крестителю, чью голову по наущению

нию матери за танец выпрашивает у царя ее дочь Саломея, — вдохновлял многих художников разных эпох. В уже сложившуюся его иконографию Моро вносит необычайно напряженную по трактовке замысла композицию. Не бы ваялая фантастическая роскошь интерьера дворца с восседающим на пышном троне царем Иродом, мерцает из-за затянувшей все внутреннее пространство легкой дымки. В левой части картины на переднем плане выделена грациозная фигура Саломеи, начинающей свой танец. Во всем ее облике что-то неуловимо хищное, как и в небрежно растянувшейся у колонны пантере, наблюдающей за ней своими холодными, жадными глазами. А каким кощунством кажется стебель с цветками белой лилии — этим символом чистоты и невинности — в ее руках! Излишняя декоративность и многосложность заднего плана уступают здесь место кровавой драме разыгрывающегося сюжета.

Конец 60-х — начало 70-х годов XIX столетия для изобразительного искусства Западной Европы в частности Франции был периодом интенсивных поисков новой живописной манеры и техники, которые проявились в утверждении иных композиционных решений, в колористических достижениях передачи световоздушной среды, в разработке живописного эффекта воздействия света на цвет, в фиксации на полотне мгновенных зрительных впечатлений от природы и окружающей действительности. Эти чер-

ты стали основополагающими для нового художественного течения, название которому — импрессионизм.

В коллекции собраны в основном работы корифеев импрессионизма — Клода Моне, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Камилля Писсарро, Альфреда Сислея, выполненные в 80—90-х годах прошлого столетия, то есть в то время, когда их творчество, совершенно разное по характеру, выбору тематики и живописного метода, достигает своего апогея.

Американские коллекционеры довольно быстро открыли для себя феномен французских импрессионистов и сразу приступили к приобретению их работ. Поэтому произведений этих художников довольно много на американском континенте, особенно в частных собраниях, в том числе и в коллекции доктора Хаммера.

Но сначала необходимо сказать несколько слов о входящих в состав собрания полотнах двух художников, чье творчество стояло в преддверии, а затем несколько в стороне от импрессионизма. Это — Эжен Буден и Эдуард Мане.

С первого взгляда «Парусники в гавани» Будена напоминают и тальянскую весту XVIII века, которую он в свое время тщательно изучал. Но в отличие от последней его пейзаж написан с большим чувством. В нем удивительно точно переданы ощущение влажной прохлады морского пространства и зябкость холодного ветра, подгоняющего на небе грозные тучи. Кар-

тина полна свежего впечатления пленэрного эффекта. Поэтому не случайно на творчество Будена в свое время обратил внимание Клод Моне.

Мане был хорошим портретистом и в разнообразных по решению портретах с присущей ему живостью запечатлял образы современников. К одним из лучших можно отнести демонстрировавшийся на выставке портрет Алисы Легуве, в котором своеобразные, лаконичные и обобщенные приемы трактовки формы придают ему почти классическую ясность и простоту.

Клод Моне — самый «импрессионистический» импрессионист — в «Виде на Бордигеру» отходит от своего живописного кредо в передаче и фиксировании мимолетных нюансов природы. Картина написана плотно. Все полотно оживлено бесчисленными оттенками зеленого цвета, которые Моне накладывает мелкими, тщательными, взаимно перекрывающимися мазками.

Творчество Дега в коллекции дано во всем его тематическом разнообразии. Это и портрет — пастельный портрет Жаке, знакомого художника; и сцены физического труда, в которых мастер точно и метко передает их утомительное однообразие, особенно в изобразительных вариациях прачек («Прачка, несущая белье», «Прачки, несущие белье»); и самые известные, принесшие Дега популярность картины из жизни балерин и будней театра, в которых он изображает скучные, нудные узоры, репетиции и фантазма-

горию спектаклей. Будучи поэтом, Дега своим героям посвятил также следующее стихотворение:

Пляшите, красотой
не обольщая модной.
Пленяйте мордочкой
своей простонародной
Чаруйте грацией
с бесстыдством пополам.
Вы принесли в балет
бульваров обаянье,
Отвагу, новизну.
Вы показали нам,
Что создает царич
лишь грим да расстояние.

Выполненная маслом картина «Три танцовщицы в желтом» по первому, беглому впечатлению воспринимается как пастель. В ней сказывается присущее Дега умение уловить и передать характерность поз и движений фигур в преходящем мгновении и даже определить мимикку едва прописанных лиц.

Но некоторые поиски композиционных решений в работах Дега приводят к отсутствию внутреннего пространства, и в этом случае фон сливается с передним планом. Такое впечатление возникает в пастели «Ложка», где пестрота выступающих у лампы балерин вытесняет силуэт сидящей в ложе дамы. Отсутствует пространственная глубина и в ранее упомянутой картине «Прачка, несущая белье».

Работы художника, запечатлявшего на своих полотнах поэтичные образы современных парижанок и красочные сцены из парижской жизни, дополняют картины, в которых бьет ключом радость бытия, ощу-

щение полноты жизни. В лучших женских портретах Ренуара раскрывается его сердечная теплота и нежность. Таковы «Девушки», «Завтрак сборщиц винограда», нарисованные в ярких, радужных тонах.

В ином плане написан пейзаж «Антибы». В нем трудно определить время дня: все словно затянуто легким туманом, и белые точки цветов на лугу кажутся спустившимися с неба мерцающими звездочками.

Патриарх импрессионизма Писсарро — «маэстро» городских пейзажей. Он посвящает им целые серии картин, отличающиеся друг от друга разве что по освещению, нежели по композиции. «Бульвар Монмартр во время карнавала», который мы смотрели на этой экспозиции, исполнен в очень характерной для художника композиционной и живописной манере. Но в данном пейзаже Писсарро отдает предпочтение не световоздушной среде, а колориту, который приобретает неожиданную для него пестроту из-за вибрирующего потока ярких красок, что, впрочем, вполне соответствует разрабатываемому сюжету — масленичному карнавалу (в названии полотна на французском языке упоминается масленица).

Лиричностью и непосредственностью восприятия окружающей действительности, умением раскрыть своеобразие и привлекательность в самом бесхитротном, непримечательном пейзаже наполнена картина Сислея «Лесопилка в Сен-Мамме». В ней большая часть полотна отдана небу,

что является весьма стабильным приемом художника в подобных работах, ибо небо для Сислея — неувещевенная, живая в своей постоянной изменчивости часть природы. Он писал: «Небо не может быть только фоном. Наоборот, оно не только придает глубину своей многоплановостью, оно создает движение своей формой, своим расположением в композициях картины... Я всегда начинаю картину с неба».

Вслед за импрессионизмом появляется целый ряд новых «измов», которые выдвигали свои программы, утверждали в искусстве свои теории. Так, для постимпрессионистов характерна теория синтетизма, что означает жесткую конструктивность композиции, синтез формы и цвета, четкость соотношения формы и пространства.

Коллекция знакомит нас с блестящими мастерами этого направления — Полем Сезанном, Винсентом Ван-Гогом, Полем Гогеном.

В «Отдыхающем мальчике» Сезанн выразил свой идеал свободной, ничем не стесненной жизни и поведения человека среди природы, сложившийся еще в юношеские годы, когда вместе с друзьями Эмилем Золя и Баттистом Байлем проводил дни у реки Арк в окрестностях Экса.

Почти все работы Ван-Гога, глубоко одинокого и в сущности глубоко несчастного человека — это исповедь мятежной души. Однажды он написал: «Человек несет в своей душе яркое пламя, но никто не хочет погреться, около него;

прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей дорогой». Сколько в этих словах безнадежной тоски и безудержного пессимизма. Одна из интереснейших его картин — «Лечебница в Сен-Реми» — очень точно передает физическое и психологическое состояние самого художника. За корчачимися, «плачущими» деревьями видно одинокое здание. Композиция создается извиляющимися мазками, словно передающими экспрессию души, ее щемящей боли. Так же решен и колорит картины, где художник сталкивает зеленовато-синие с красно-желтыми тонами.

Ван Гога очень волновали окружающая жизнь, страдания людей. Его внимание привлекали люди из народа («Старик, несущий бадью», «Старик, чистящий сапоги»). Динамичный, напряженный рисунок в «Доме Заидменика» и в «Доме Марго в Кеме» создает впечатление неустойчивости, рождает драматическое чувство беспокойства, тревоги.

Но его «Сеятель» воспринимается как аллегория, хотя, если исходить из общего колорита картины, эта аллегория имеет несколько мрачноватый оттенок. В работе подчеркнутый контур и большие плоскости одного цвета приобретают самоделирующее декоративное значение.

Одна из загадочных картин другого постимпрессиониста Гогена — знаменитая «Здравствуйте, г-н Гоген» — является своеобразной реминисценцией полотна Курбе. В ней обыкновенный автопортрет вдруг по-

лучает полную значительного смысла таинственность. Работа была исполнена для гостиницы Мари Анри в Ле Пулдю (Бретань), куда Гоген переехал вместе с другими художниками в поисках тихого, не тронутого цивилизацией уголка. Стремление к уединению, к первоначальной чистоте спустя несколько лет направило Гогена в Полинезию и на Антильские острова. Несколько рисунков передают типы туземцев, их быт. Человек и природа в них трактуется статично, в упрощенном виде.

Большую ценность также представляют графические наброски, эскизы так называемой «Тетради № 16», выставленные в разброшированном виде. На некоторых листках записаны высказывания и размышления Гогена об искусстве.

Типичное для Эмиля Бернара полотно «Сбор урожая» относится к бретонскому периоду, когда он работал вместе с Гогеном и принимал участие в разработке теории синтетизма. Отсюда схематичность фигур и пейзажа, подчеркнутых четким контуром, создающим на полотне видимость витража.

К синтетическому искусству имеет отношение и другой художник — Дерен. Он также любит обобщать форму, строить объем четкими гранями цвета, отчего она приобретает цельность и монументальность. К «сезанновскому» периоду относится его «Нагюрморт», написанный в характерной для этого времени коричневой гамме красок.

Неоимпрессионизм как

художественное течение был недолгим и имел мало последователей. Его идея заключалась в фиксации образов и предметов объемного, видимого мира путем нанесения на полотно мелких мазков чистого красочного тона. Увлечение этой живописной техникой привело к условности и однообразию изображаемой действительности.

Типичными примерами неоимпрессионизма на выставке являются мерцающее, вибрирующее идиллическое полотно «Сцена в Аркадии» Ипполита Птижана и схематичные, vyplненные в технике сероголубой гризайли «Кипарисы» Анри-Эдмонда Кросса.

Работы двух представителей группы «Наби» совершенно разные по характеру. В «Обнаженной, стоящей против света» Пьера Боннара чувствуется влияние Гогена. Тонким лиризмом наполнены произведения художника интерьеров, парижских уголков и портретов — Эдуарда Вуйара («Интерьер», «Улица Лепик в Париже»).

Несколько в стороне от модернистических группировок и течений стояли художники, творчество которых отмечено объективностью отражения реально существующего мира. К ним можно отнести и Анри де Тулуз-Лотрека, много работавшего в области плакатной графики, создавшего невероятно меткие, а порой и неприглядные сцены жизни парижской богемы. «В. салоне» — этюд к картине «В. салоне на улице Мулен» — ныне находится в музее Альби. Очень инте-

ресен «Тук, сидящий на столе». Его можно считать просто «портретом» Труба, относящимся к ранним и довольно редким полотнам художника из «антропоморфных» изображений животных.

Работы двух французских Берты Моризо и Мари Лорансен разные по характеру. Художница до мозга костей, Моризо в вихре красочных мазков вырисовывает нежный портрет своей родственницы («Девушка с собакой»). Типичным женским очарованием, меланхолической мечтательностью наполнен сказочный мир «Женщин в лесу» Лорансен. Живописная ткань решена здесь аккордом зеленовато-серо-розовых тонов.

В начале XX века художественный мир Парижа был довольно пестрым, ибо сюда со многих стран стекались художники, скульпторы, поэты, музыканты. В результате он превратился в мощный центр космополитической культуры. Помимо многих художников здесь жили и работали испанец Пабло Пикассо, итальянец Амедео Модильяни, приехавшие из далекой России Марк Шагал и Хаим Сутин, чьи работы также входят в постоянный фонд собрания доктора Хаммера.

Пикассо представлен двусторонним наброском, выполненным с характерной для художника непринужденной небрежностью. «Женщина из народа» Модильяни типична для него в своей утонченности линий ритма, удлинённости пропорций и полной индифферентности, сводящей на нет ин-

дивидуальную характеристику образа.

Религиозно-мистическая работа Марка Шагала «Голубой ангел» относится к периоду работы художника над иллюстрациями к Библии по заказу Амбруаза Воллара. А слегка деформированная, напряженная фигура «Слуги» Сутина обостряет экспрессию болезненной души самого художника.

В коллекции довольно много натюрмортов с цветами, дающими возможность гораздо острее ощутить живую природу.

Как невероятно живы, осязаемы пионы и розы Анри Фантен-Латура, с любовью выписавшего каждый листочек и лепесток; свежа и ароматна «Сирень» Ван Гога, создавшего этот милый натюрморт в «поисках сильного цвета»; декоративен, но не лишен красочного созвучия «ирреальный» букет Одилон Редона; полны жизни зардевшиеся в лучах солнца цветы бельгийца Джеймса Энсора; рельефны в своей фактурной объемности написанные широкими мазками сизоголубые с красными акцентами пятна стройного букета Мориса де Вламинка.

Экспонируемое на данной выставке американское искусство стало для тбилисского зрителя открытием, тем более что в музеях Советского Союза оно представлено весьма скупо. Поэтому очень интересно для нас знакомство с творчеством американского художника Джильберта Стюарта, ставшего основоположником национальной реалистической школы портретной жи-

вописи. В портретах Джорджа Вашингтона, Джорджа Фредерика Наджента, Джорджа Джона Наджента наряду с чертами романтической приподнятости чувствуются жизненная конкретность, стремление к максимальной достоверности изображаемого. Так, зависимость от характера портретируемого художник прибегает к разной манере письма, более плотной в портрете Вашингтона, более свободной, легкой — в портрете Джорджа Фредерика Наджента.

Работы Мери Кессет отличаются исключительным изяществом, непринужденностью импрессионистического письма. Таковы ее портреты и жанровая композиция «Лето». «Натюрморт» Уильяма Майкла Харнетта поражает виртуозностью живописи. Художник с голландской педантичностью вырисовывает каждый предмет, смакует возможность предельно четкой передачи его фактурных особенностей. Но излишняя детализация делает работу сухой, точной копией «мертвой природы».

Фредерик Ремингтон, Чарльз Марион Рассел в своих полотнах предлагают сцены из жизни «дикого Запада», столь хорошо нам известные по романам Фенимора Купера и рассказам Брет Гарта, О'Генри.

Наш современник Эндрю Уайес сравнительно хорошо известен советскому зрителю. На выставке экспонировалась его акварель «Доллина Брендиуайн», в которой гармоничная композиция пейзажа создается богатой валерными оттенками

цветовой гаммой. А его «Дневной сон» образует единый сплав живописных традиций предшествующих поколений художников с современными. В картине эстетическое начало с артистической точностью открыто в непосредственно увиденном реальном мотиве, овеянном дыханием самой жизни.

Заканчивая рассказ о коллекции, хотелось бы еще раз отметить ее высо-

кую художественную ценность. Сто тринадцать картин и рисунков пятидесяти восьми художников составили интересную ретроспективную панораму европейского и американского искусства, которая расширила наши представления о творчестве многих художников и поэтому вызвала столь закономерный большой интерес как в среде специалистов, так и у широкой публики.

ХРОНИКА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В Союзе писателей Грузии прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения замечательной русской писательницы Анны Антоновской.

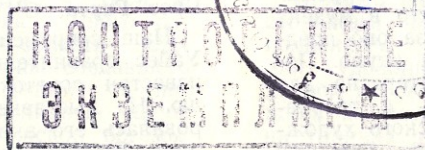
Вечер вступительным словом открыл секретарь правления Союза писателей республики Джансуг Чарквиани.

С докладом о жизни и творческом пути А. Антонов-

ской выступил Георгий Натрошвили.

На вечере выступили также председатель правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили, Э. Гугушвили, В. Шадури, М. Златкин, И. Богомолов.

В заключение грузинские актеры прочитали отрывки из романа А. Антоновской «Дида Моурави».



Сдано в набор 1.XII.86 г. Подписано к печати 13.I.87 г. Формат: 84×108^{1/32}. УЭ 06006. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5.000. Заказ 2783. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Виктория
ЗИНИНА (ответственный секретарь), Марк ЗЛАТКИН,
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь —
93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и
93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

26-87

07-51

ИНДЕКС 76117

ՀԱՅԿԱՅԵԱՆ
ՆՈՒՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

